

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

УДК 930.1+940

И.Ю. Николаева

СМЕХ И СЛЕЗЫ ВЛАСТИ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ ИНТЕРЬЕРЕ ЕЕ БЫТОВАНИЯ

Работа выполнена при финансовой поддержке Центра социологического образования Института социологии РАН совместно с ИНО-Центром (Информация. Наука. Образование) за счет средств, предоставленных Фондом Форда.

Период правления Ивана IV рассматривается в статье в контексте европейских процессов Перехода к Раннему Новому времени. Авторская гипотеза основывается на предположении, что социальный кризис эпохи опричнины наиболее четко выявляет природу исторического «срыва» первой русской модернизации. В статье исследуются социально-психологические корни этого «срыва». Показывается, что архаизирующая деформация, которой подвергся властный код русской культуры, отразилась стилистикой функционирования ее эмоциональной сферы.

Российское государство XV–XVI вв. зачастую рассматривается в стороне от процессов, происходивших в Европе того времени. Если применительно к современности сопоставление России и Европы – вещь достаточно распространенная (хотя сравниваются они чаще в оценочном, нежели аналитическом ключе), то относительно Средневековья и Нового времени такого рода попытки – явление достаточно редкое для отечественной русистики, да и не только для нее. Во многом это обусловлено тем, что компаративистика является «слабым звеном» современной исторической науки. Отчасти именно по этим причинам такое явление, как опричнина, рассматривается как некий исторический феномен, не имеющий никаких параллелей в других обществах.

При всей уникальности этого феномена, оформившегося в специфически русским историко-психологическом и религиозно-культурном ландшафте XVI в., он, как представляется, не может быть выведен за скобки тех процессов, которые протекали в Европе в эпоху Раннего Нового времени. Такое утверждение наверняка вызовет немало возражений специалистов, занимающихся эпохой времен Ивана Грозного. Уж кто-кто, но этот «самовластец и душегуб» с его деяниями плохо ассоциируется, на первый взгляд, с европейскими монархами Нового времени, закрепившими за собой репутацию правителей, с чьими именами связывается эпоха модернизации раннеевропейского времени со всеми ее завоеваниями в области экономики, политики, культуры и иных сфер жизни. Ранний абсолютизм как явление, «ответственное» за диалог сословий или общества с властью, диалог, породивший, в частности, политику протекционизма и меркантилизма, мало соотносится с деяниями этого первого русского самодержца, чье правление привело Россию не к процветанию, но к смуте, экономическому упадку.

Однако это не помешало в свое время, например, Н.М. Карамзину сравнивать Ивана IV с Людовиком XI – французским королем, с именем которого современные исследователи соотносят начало оформления раннеабсолютистской монархии во Франции. Это не помешало автору одного из «классических» трудов в отечественной историографии А.А. Зимину определить самим его названием («Россия на пороге Нового времени») эту эпоху как эпоху переходную. Автор данного текста, отталкиваясь от этих посылок, будет пытаться обосновать гипотезу, что подобного рода сравнение, только

произведенное применительно не к процессам централизации, а к более широкому явлению раннеевропейской модернизации, является вполне правомочным. Более того, в таком ракурсе рассмотрения опричного феномена, как представляется, открывается путь к пониманию специфики модернизационных процессов в России в режиме большого времени.

Именно эта гипотеза будет определять построение данного текста, автор которого отдает себе отчет в том, что в рамках статьи невозможно представить полноценной аргументации в ее пользу. Поэтому задача будет заключаться в том, чтобы попытаться увидеть социально-психологическую основу того исторического «срыва» первой русской модернизации, который, как представляется, и составляет суть опричнины, «срыва», обернувшегося не просто социальным хаосом, но реактуализацией архаических установок сознания и поведения людей во всех сферах бытования общества, повлекшей за собой деформацию всего накопленного опыта духовной и политической культуры общества. При этом процедура предварительной верификации гипотезы будет строиться на анализе эмоциональной сферы бытования русского общества, и прежде всего царя. Отсюда и название данного текста.

Возвращаясь к идее Карамзина, можно предположить, что сами прозвища, которыми наделила историческая память двух государей раннеабсолютистского типа во Франции и России, могут многое рассказать о различии социально-психологического интерьера обществ, в которых им довелось утверждать свою власть. Стилистика отправления власти во Франции, позволившая закрепить за Людовиком прозвище «Вселенский паук», как нельзя более знаково проговаривается о нем как о монархе, виртуозно владевшем искусством политического «слалома». Забегая вперед, можно предположить, что прозвище, исторически «приросшее» к французскому королю, сформировалось во вполне определенном ментальном пространстве, основные отличительные особенности которого были обусловлены специфическим социоисторическим интерьером французского общества данного времени. Как выразился бы П. Бурдьё, структура социальных полей этого общества с их равновеликими агентами задаст тот алгоритм социального поведения монарха, когда политическое лавирование будет доминировать над насилием в палитре средств отправления власти. «Великие герцоги Запада», относительно неза-

висимое дворянство, бывшее, по выражению Ф. Контамина, «ферментом свободы» этого мира, и бюргерство, добившееся коммунальных свобод и привилегий, а также неподвластное государству духовенство – такой обычно рисуется специфически благоприятная для оформления этой стилистики власти социальная среда.

Сразу оговоримся относительно термина «доминировать». Людовик XI, как известно, также не брезговал иными средствами правления, если только конкретные ситуативные обстоятельства позволяли ему явить себя «во всей красе» своих амбиций и подавленных логикой социокультурной традиции властных устремлений. Хрестоматийно известны его «дочурки» – огромные гири, крепившиеся к цепям, которыми сковывали ноги заключенных; клетки «малютки» – железные камеры таких размеров, в которых заключенные едва ли могли повернуться; казнь герцога Неймурского, под эшафотом которого были поставлены дети герцога, с тем чтобы кровь казненного отца падала на них, и т.п. вещи. Однако арсенал «властных» средств этого раннеабсолютистского монарха, как, впрочем, и английских Тюдоров, и флорентийских Медичи, столь разительно отличается от русского варианта царского властвования соответствующего времени, что ставит вопрос о макро-социальной закономерности подобного рода различий.

Если искать причины этой исторической специфики в явлениях макроисторического масштаба, то, конечно же, нельзя обойти вопрос о роли античного наследия, которое получила Западная Европа, заложившего фундамент под особый динамизм наращивания корпоративных и индивидуальных свобод в европейском мире, обусловивший особый характер диалога власти и подданных на Западе. С высоты птичьего полета точно таким же образом может быть обозначен исторический формат взаимодействия власти и общества на русской почве, сформировавшийся в условиях отсутствия античного наследия, но при наличии татарской «прививки». Власть в российском историко-культурном интерьере ее бытования представлена жестко выстроенной иерархической вертикалью, она неизмеримо в большей степени замешана на принуждении и насилии, мало оцивилизована логикой исторической борьбы разных сословий против государственной власти. Именно в таком интерьере, если рассматривать правление Ивана IV на протяжении большого отрезка времени, и могла сформироваться та ментальная атмосфера, которая закрепилась за дедом первого русского царя – Иваном III, а затем и за самим Иваном IV, прозвище «Грозный».

Однако такого рода историко-социологическое сравнение макроуровня вряд ли поможет понять природу опричнины, если даже не пытаться ее соотнести с процессами модернизации, а говорить лишь о процессах централизации власти. Очевидно уже то, что природа власти первого русского царя, явившая себя в обличье, для которого символика прозвища «Грозный» выглядит эвфемизмом, явно маркирует собой такие ее черты, которые красноречиво проявляют некое нарушение норм пусть отличной от западно-европейской, но цивилизованности, сформировавшейся в предшествующий опричнине период. И уже это потребует уточнить сравнительный формат анализа, что мы и попытаемся сделать, сопоставив приведенные макроисторические

характеристики явления раннего абсолютизма с тем материалом, который может быть получен в процессе микроисторического исследования указанного явления. При этом технология сравнения будет основываться на «челночном» пошаговом соотношении макротематики (в данном случае теории модернизации и раннего абсолютизма) с пластикой микроистории, являвшей себя в конкретных поступках, мыслях и эмоциях людей.

Как нам представляется, многочисленные эксцессы опричнины, связанные с бесчинствами царя и его подручных, в ходе которых население подверглось беспрецедентному по масштабам унижению, издевательствам и насилию, в том числе и смехового характера, являются знаком не просто отклонения от нарабатываемых культурных норм, но свидетельством актуализации архаических импульсов сознания в ситуации тяжелейшего социального кризиса. Этот кризис был обусловлен тем, что Россия, оказавшись на перекрестке исторических путей, принадлежа к странам начавшей формироваться в Раннее Новое время так называемой третьей субсистемы, вступит в стадию так называемого Перехода, которая будет деформирована, смята. Это произойдет по причине слабости ростков нового уклада, свидетельствующих о более медленном созревании эндогенных факторов [1. С. 66–70], что выявится опытом первого военного противостояния с более развитым «Западом». Именно в ходе Ливонской войны обнаружится «неготовность» правящей элиты, в частности царя, к новым способам осмысления и реагирования на ситуацию, «неготовность», свидетельствующая о большой силе «традиции». Тот исторический «срыв», который претерпит русское общество в ходе означенных процессов, выразится в незавершенности реформ, свертывании сословно-корпоративных и личностных свобод, протекавших в условиях мощнейшего социально-психологического и духовного кризиса.

А. Тойнби одним из первых поднял проблему природы архаизма, акцентировав связь «душевной болезни» – именно так определяет Тойнби основную характеристику архаизирующего культурного кода, базирующегося на сознании людей, протестующих «против традиции, закона, вкуса, совести, против общественного мнения» и вызвавшего ее «социального распада» [2. С. 8]. Примитивизация сознания и поведения, актуализация инстинктов, знаменующих возврат к первобытной стихии необузданных и неконтролируемых влечений, репрессирование нарабатываемых морально-культурных императивов и табу представляет собой один из срезов такого «большого сознания», которое все чаще привлекает внимание специалистов из разных областей знания о человеке [3. С. 1–256].

Эта реактуализация архаики в эпоху опричнины так или иначе вырисовывается как проблема исследования уже самим историографическим контекстом нарабатываемого в отечественной литературе материала. В религиозно-политическом и социально-психологических срезах эта ситуация явит себя на уровне властных отношений в возобладании того архетипа коллективного бессознательного, названного Ю.М. Лотманом архетипом «вручения себя» [4. С. 3–16], который потеснит те установки сознания, которые можно вслед за тем же автором назвать архетипом договора. Эта плодотвор-

ная постановка вопроса, однако лишенная историко-психологического объяснения причин такого рода исторической метаморфозы, побуждает понять причины реактуализации данного архетипа бессознательного.

Важно подчеркнуть, что обозначенный концептуальный ход дает шанс преодолеть методологически малоперспективную тенденцию, достаточно укорененную в ряде исследовательских работ, искать причины кровавых эксцессов опричнины в психологии отдельной, пусть и «великой» личности, каковой является фигура Ивана Грозного. Атмосфера страха, наушничества, подозрительности и доносивших, в которой сформировался опричный режим, несомненно была связана с более широкими и глубокими процессами и явлениями, нежели психология пусть даже такой незаурядной личности, как ее главный творец. Более того, смеем предположить, что многие из социально-психологических особенностей поведения царя в акцентированном виде «сняли» соответствующий склад общественного унастроения определенных социальных групп и страт русского общества.

Такая постановка проблемы не снимает вопроса расшифровки уникально-индивидуального комплекса личностных черт Ивана IV, расшифровки, предполагающей соотносительность данного комплекса с базовыми чертами унастроения и мировидения русского общества того времени, что потребует послышного выявления этапов оформления идентичности царя как структуры личности, моделируемой ценностями и предпочтениями среды, времени, и одновременно моделировавшей поведенческий стандарт своего окружения, а опосредованно и более широких слоев. При этом памятуя о том, что как само усвоение, интериоризация установок среды, так и момент творческой переработки их протекают не «автоматически», а являются сложным, но вполне поддающимся анализу механизмом реагирования человеческого «Я» на потребности, с одной стороны, самой личности (которые носят опосредованно социальный характер), с другой стороны, багажа накопленных личностью установок (или габитуса – по Бурдые), с третьей – самой среды, открытой либо закрытой для реализации возникших «здесь и сейчас» потребностей личности.

Начнем с того, что истоки самовластия Ивана Грозного следует искать в его детстве, протекавшем в особых историко-психологических обстоятельствах. Уже в ранние годы в характере будущего царя отмечали черты, которые, с одной стороны, заложили основу неуверенности Ивана в себе как правителя, а с другой стороны, формировали во многом компенсаторную по своей психологической природе убежденность в своем праве на безоговорочную и безграничную власть и вседозволенность средств ее отправления. Этот комплекс будет развиваться и на каждом новом витке жизненного цикла, в свою очередь, вписанного в интерьер макроисторических циклов развития окружающего социума, фиксироваться на глубинном психологическом уровне, «рационализироваться» на языке соответствующего культурно-понятийного аппарата и определять поведение царя.

Фактически все современные психоаналитические концепции акцентируют исключительную значимость ранних лет жизненного цикла для формирования личности человека. Это представление о фундаментальной обу-

словленности психики и поведения взрослого периодом детской социализации прочно утвердилось в гуманитарном сознании. («Ребенок – отец взрослого» – эта формула Ж.П. Сартра как нельзя более точно передает данный закон формирования психики.)

Отец Ивана IV – великий князь Василий III – скончался в 1533 г., когда Ивану было 3 года, через 5 лет умерла и его мать – Елена Глинская. Раннее сиротство и развернувшаяся между наиболее влиятельными представителями боярской элиты борьба за власть оказали решающее воздействие на формирование психики будущего царя. Роль сиротства в оформлении некой робости как основной черты характера Ивана IV отмечал в свое время В.О. Ключевский [5. С. 176–187]. Может показаться, что эта черта характера Ивана слабо вяжется с его образом, запечатленным в сохранившихся источниках. И тем не менее историк оказался на верном пути, предположив наличие данной черты и пояснив ее происхождение. Современная психоаналитическая литература позволяет выявить закономерность бессознательных психических переживаний мальчика, которые не могли не повлечь за собой формирования на базисном уровне неосознаваемого чувства недоверия к миру и неуверенности в себе, что, заметим, как правило, порождает повышенную невротичность формирующейся личности ребенка и соответствующие защитные реакции [6. С. 100–153; 7. С. 252 и др.].

Сложившаяся при дворе атмосфера борьбы за власть лишь усугубила травматический эффект от потери родителей. Еще при жизни княгини Елены намечались соперничающие группировки в лице князей Василия Шуйского и фаворита княгини князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского. Сразу после смерти Елены Глинской ее любовник был заключен в тюрьму и, как сообщает «Летописец начала царства», был «умориша ... гладом и тягостию железною», а сестра его Аграфена, «мамка» Ивана IV, была сослана в Каргополь и «тамо ее постригоша в черницы» [8. С. 11].

Согласимся с Б.Н. Флоря, что запись об этих событиях, сделанная, судя по всему, по приказу уже взрослого царя, несомненно, отражала его отношение к происшедшему [8. С. 11] и, добавим, косвенно подтверждала переживания ребенка, лишенного тепла близких людей – матери, а впоследствии замещавшей ее фигуры в лице «мамки» Аграфены. Василий III, благословляя наследника на смертном одре, препоручил его боярине Аграфене Челядниной, которой приказал «ни пяди не отступать» от ребенка. Заметим, что нет ничего удивительного в том, что ребенок был препоручен заботам «мамки». Сам модус семейного воспитания той поры отражал характерное для тогдашних эпох отсутствие интимной близости между родителями и детьми в том знакомом современному обществу виде, который описали классики психоанализа как залог психической устойчивости личности. Нередко их субститутами выступали лица, которые были приставлены к малолетним отпрыскам знатных фамилий. Хрестоматийно известные имена Никиты Зотова, Арины Родионовны, равно как и многие другие примеры неформальной теплоты подопечных и их воспитателей, хорошо известны, но далеки от интерпретаций концептуального порядка, таких, например, какие дает теория Э. Эриксона. Послед-

няя фиксирует значимость если не родительских фигур, то их заместителей, способных компенсировать отсутствие интимной теплоты и близости, обеспечить первичное подсознательное доверие к миру. Упоминание вскользь в летописи имени Аграфены и факта ее ссылки выступает в качестве пусть косвенного, но аргумента в пользу такого восприятия ее фигуры малолетним царем. То, что она попала на страницы летописца, повествующего о важных для царя государственных делах, к авторству которого, как предполагают исследователи, был непосредственно причастен сам Иван IV, как факт оговорки на языке психоанализа сигнализирует об укорененности в подсознании травмирующего воспоминания, связанного с потерей близкого лица.

Предположение, что Иван действительно лишился того тыла, который обеспечивает нормальную социализацию на ранних этапах жизненного цикла и что это сказалось на его взрослой идентичности, можно найти и в переписке царя, где есть немало свидетельств «застраивших», как выражаются психологи, воспоминаний травматичного детского опыта. В сознании царя они с братом Юрием остались круглыми сиротами, которым никто не помогает, «нас убо, государей своих, никоего промышления доброхотнаго не сподобиша... питати начаша яко иностранных или яко убожейшую чадь. Мы же пострадали во одеянии и в алчбе» [9. С. 42–44].

Фактически детство и отрочество Ивана IV протекали в обстоятельствах жесткой борьбы различных группировок за власть, в ходе которой с малолетним князем никто не считался. Так, в 1542 г. во время попытки взять реванш князем Иваном Шуйским, обернувшись, по словам Б.Н. Флори, настоящим военным переворотом, бояре не убоились явиться посреди ночи в комнату Ивана и учинили митрополиту «безчестие» и «срамоту великую». А уже в следующем году Шуйские на глазах самого Ивана и Боярской думы жестоко избивали Федора Воронцова «за то, что его великий государь жалует и бережет».

Не единожды повторявшийся исторический парадокс – власть фактически не принадлежит государю, хотя он символически и обладает ею, – порождал вполне определенную психологическую раздвоенность в личности будущего царя. Наряду с многочисленными свидетельствами своего «бесправия» малолетний Иван IV получал пусть до конца не осознаваемые, но психологически ощущаемые знаки своей высшей власти. Этикет эпохи и двора предполагал, в частности, прием иноземных послов лично государем. Формально отправляя великокняжеские функции, он получал пусть ритуальные, но весьма веские свидетельства значимости своей особы как великого князя. Так, уже через несколько дней после смерти отца трехлетний Иван принимал гонцов от крымского хана. Источники сохранили и другие свидетельства подобного рода. Ясно одно – не ощущать свою пусть символическую, но центральную роль в отправлении представительных функций власти он не мог.

В приведенном выше рассказе уже взрослого царя имеется фрагмент, который также может быть проинтерпретирован психоаналитически. Восьми- или девятилетний Иван вместе с братом Юрием играют в свои детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский, «се-

дя на лавке, лохтем опершись на отца нашего постелю, ногу положа на стул». Память избирательна, и если подсознание не репрессировало этот эпизод из головы взрослого царя, то нет сомнений, что маленького Ивана болезненно задел факт непочтительного отношения к нему – пусть малолетнему, но государю. Истоки акцентуированного избыточно болезненного самолюбия, которые не раз будут продемонстрированы Иваном IV в качестве уже зрелого и самостоятельного правителя, можно искать в этих ранних событиях.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что по мере взросления у будущего царя пробуждались подавленное желание продемонстрировать свою власть, желание, компенсаторное по своей природе и деформированное тем страхом, который оставит неизгладимый след в его психике. Это желание, избыточное у личности авторитарного склада, превратится на языке теории Узнадзе в фиксированную установку сознания взрослого царя, которая будет носить выражено избыточный характер, отягощенный тем, что К. Хорни называет базальной тревожностью.

Следует оговориться, что базальная тревожность – несоразмерная реакция на воображаемую опасность – может сопровождаться в качестве своеобразной защитной реакции агрессивией в отношении других, как правило ситуативно более слабых лиц [7. С. 31–34]. По-видимому, неслучайно одной из первых жертв этого деформированного всеми условиями детства опыта социализации наследника престола явится князь Андрей Шуйский, принадлежавший к кругу лиц, которые воспринимались как особо стеснявшие и ущемлявшие личные права Ивана и его брата. Тринадцатилетний государь велит псарям убить князя Андрея, как сообщает летопись, «не мога того терпети, что бояре безчестие и самовольство творят». Представляется психоаналитически важным позднее добавление к официальной летописи, которое является ключом к пониманию отороческого комплекса будущего царя: «От тех мест начали бояре от государя страх имети». Согласимся с исследователем, что в более поздние годы царь желал, чтобы это событие выглядело именно так в глазах читателя [8. С. 15]. На языке теории установки это свидетельствовало о фиксации соответствующей готовности сознания вызывать чувство страха у окружающих, зеркально отражавшее собственные страхи и тревожности.

Приведенная интерпретация материала, связанного с формированием личностного психологического комплекса царя, органично коррелирует с тем, как характеризует данный комплекс черт авторитарной личности Э. Фромм. Говоря о том, что для нее свойственна определенная садо-мазохистская составляющая структуры характера (которая, как можно заметить, будет постоянно давать о себе знать на всех поворотах судьбы Ивана IV), Фромм в качестве ее истока называет чувство страха, которое испытывает авторитарная личность перед силой, перед властью. При этом уточняя, что власть не представляет собой что-либо определенно данное, но является результатом межличностных взаимоотношений, в процессе которых выстраивается некая иерархия «высших» и «низших» [9. С. 142]. Причем, подчеркивает Фромм, лицо, не обладающее «здесь и сейчас» определенной силой, вызывает у такого рода лич-

ности желание «напасть, подавить, унижить», вызвать чувство страха [9. С. 145]. В реконструкцию этих черт психологической двойственности царя как устойчивого личностного комплекса характерным образом вписываются и другие проявления его, вскрывающие стилистику поведения царя-подростка. Так, Курбский писал, как Иван со своими сверстниками «по стогнам и торжищам начал на конех... ездити и всенародных чело- веков, мужей и жен бити и грабити» [10. С. 222]. Эти казалось бы внешне немотивированные, беспричинные агрессия и жестокость будут еще не раз являть свой лик в самых разнообразных поступках Ивана.

Подобного рода поведение, естественно, не было нормой тогдашнего пусть более жестокого и менее цивилизованного, чем нынешнее, но имевшего определенные этические стандарты русского общества XVI в. Конечно, «безчинства» Ивана оказались возможными в условиях культурно-психологической деформации сознания людей, прежде всего правящей элиты, произошедшей в условиях жесткой борьбы за власть в условиях еще достаточно примитивного общества. Исследователи неоднократно отмечали, что именно в это время чрезвычайно девальвировалась цена человеческой жизни. Авторитарный тип психосоциального характера бояр из окружения царя сделал закономерным не попытку ограничить проявления жестокости малолетнего князя, а заискивание перед ним как фигурой, символически ассоциируемой с всемогуществом власти. Как сообщает Курбский, не удерживали, но восхваляли великого князя его воспитатели: «О храбр... будет сей царь и мужествен», тем самым укрепляя в его собственном сознании неадекватные представления о самом себе, о пределах своей власти.

Встречал ли молодой царь ограничения на этом пути? В определенном смысле да. Не персонифицируя пока культурный запрет с какой-либо знаковой фигурой, напомним, что сама традиция должна была в идеале выступать ограничителем асоциальных проявлений человеческой природы и поведения. Причем основным регулятором нормы, как правило, выступали те или иные христианские табу и ценности, преступление которых, по понятиям человека той эпохи, жестоко наказывалось. Подчеркнем, что образ Бога в тогдашнем православном мире носил акцентированно жесткий властный характер и был лишен той ауры теплоты и человеколюбия, которая постепенно обреталась образом Бога в католическом универсуме (это несколько не противоречит усилению здесь жестокосердных черт Грозного Судии в образах Позднего Средневековья) [11. С. 97 и др.]. То же самое касалось и иных религиозных максим и образов, которые их олицетворяли.

В этом проявляла себя структура сознания общества, мыслившего в системе жестких оппозиций (хорошо – плохо, черное – белое, без каких-либо полутонов), которая в отличие от европейской долго оставалась, по словам Ю.М. Лотмана, бинарной. Поэтому сознание русского христианина, если искать какие-то корреляты модальной (в веберовском смысле слова) личности, находилось, как между молотом и наковальней, в тисках трудно преодолеваемых противоречий между природной данностью человеческой натуры, прошедшей не столь большой отрезок пути культурного оцивили-

зовывания, обремененной слабоконтролируемыми инстинктами, с одной стороны, и жесткими религиозными идеалами и табу – с другой. Человек должен был поступать так, как велит идеал, но на деле следование ему определялось не только и не столько силой религиозной нормы как таковой, сколько возможностями и потребностями конкретной социальной среды или личности регулировать поведение в соответствии с ним. Однако попрание идеала или нормы, если оно имело место, не могло происходить бесследно для самой личности, уклонившейся от его исполнения. Авторитарная структура сознания очень цепко держит в своей подкорке память о неизбежном наказании со стороны религиозного авторитета за свершенный грех.

Нарушение нормы, особенно частое в столь примитивном мире, в каком жил русский человек XVI в., чреватое для его психики необратимыми последствиями разрушительного характера, смягчалось благодаря тем защитным механизмам работы бессознательного, которые амортизировали или снижали уровень страхов, связанных с возможным наказанием за грех. К числу таких защит безусловно относятся и смех. Он может быть разным, но в любом случае он выполняет основную свою функцию – освобождает от груза страха, снимая полностью или частично ту напряженность, которая связана с тем или иным в толковании личности злом, заставляющим ее испытывать страх.

Попытаемся проанализировать в этом контексте небольшой эпизод из истории первого военного похода Ивана IV. Шестнадцатилетним юношей великий князь посетил войска на Оке, несшие сторожевую службу, охраняя государство от набегов крымских татар. Не готовый к реальному выполнению государевых обязанностей царь развлекался обычным образом, устраивая со своими сверстниками разные потехи.

Среди прочих заслуживает внимания глухое упоминание летописи о том, что царь в «саван наряжался». Вряд ли исследователи смогли бы расшифровать эту реплику, если бы не сохранившиеся в записях XIX в. описания игры в «покойника». Она представляла собой своеобразную пародию на церковные похороны. В избе устанавливался гроб с мнимым покойником, затем следовало отпевание, состоявшее из «самой отборной, что называется, “острожной” брани». При прощании с усопшим (обратим внимание на этот момент) девок заставляли целовать его открытый рот, набитый тыквенными зубами. Оговорка летописи о том, что Иван в «саван наряжался», дает исследователю право предположить, что роль покойника играл сам царь [8. С. 19].

Невольно напрашивается масса вопросов: почему столь распространена была эта игра на Руси, что привлекало в ней юношу Ивана и что скрывалось за этим, с нашей точки зрения, противоестественным (а с точки зрения церкви – кощунственным смехом), сопровождавшим, судя по всему, само игрище? Пытаясь найти ответы на эти вопросы, исследователи обнаружили множество историко-культурных параллелей. Известно, например, что в Западной Европе широко распространены были празднества дураков, особенно популярные у низшей церковной и монастырской братии и среди студентов-вагантов, которые содержали в себе немалую долю схожих с приведенным смеховым обря-

дом-игрой практик. Участники этих игрищ превращали неф собора в зал для танцев, «церковная служба» сопровождалась «срамными плясаниями» и непристойными песнями ряженных в «чудовищные хари», поеданием возле алтаря кровяной колбасы и т.п. нарушением разного рода религиозных норм и ритуальных практик [12. С. 161–162]. Схожие элементы нарушения принятых практик можно обнаружить в знаменитых карнавалах и других празднично-игровых явлениях, о чем речь пойдет чуть ниже.

Давно было замечено, что в ритуализированном виде подобного рода игровые практики отнюдь не несли в себе нигилистического отрицания той или иной культурно-религиозной нормы. В этом смысле методологически важным был сформулированный А.Я. Гуревичем вывод о том, что карнавальная семантика, внешне отрицая смысловую иерархию официальных ритуалов, на деле отрицает ее по-особому – «имея ее внутри себя» [13. С. 277]. Этот вывод поддается последующей социально-психологической расшифровке в контексте нынешнего знания о бессознательном и смехе. Интериоризованные религиозные табу, какой бы сферы они не касались, необходимые для нормальной социализации индивида и функционирования средневекового общества, не могли не носить императивного характера. Личность подчинялась им не потому, что ее поведенческий и ментальный склад был готов к их приятию, но в силу диктата общепринятой нормы. Естественно, что время от времени этот диктат становился невыносимым и тогда табу попирались. Ритуал и являлся своеобразным зафиксированным повторением схожих ситуаций, имевших значимость для многих. Он давал возможность «сбросить пар», снизить то психологическое напряжение, которое возникало у личности в условиях невозможности безукоснительно и постоянно следовать норме и в то же время выполнял свою социализирующую функцию. Звучащий в нем смех приносил освобождение от чувства страха перед нарушением нормы. Поначалу, на ранних этапах человеческой истории он не мог не носить агрессивно-утверждающих интонаций, слишком силен был страх перед нарушением нормы, при том что комплекс природных инстинктов и влечений поддавался слабой регуляции. Недаром некоторые исследователи усматривают истоки мимики смеющегося в оскале животного [14].

В означенном концептуальном формате может быть проинтерпретирован и соответствующий эпизод игры в покойника Ивана IV. Обращает на себя внимание центральная, как представляется, символика игры – девки целуют в открытый рот покойника, как бы прощаясь с ним, – явно носившая сексуальный подтекст. В сознании юноши, принадлежавшего к обществу, в котором для взрослого женатого мужчины существовал целый круг всякого рода религиозных ограничений в сексуальной жизни даже с законной женой, интериоризованные табу не могли не вступать в противоречие с самой природой, проснувшимися инстинктами. Эти инстинкты, судя по многочисленным наставлениям и увещаниям последующих наставников молодого царя, так или иначе вырывались на свободу.

В скобках заметим, что это, условно назовем, свободное сексуальное поведение царя не было чем-то из

ряда вон выходящим по меркам той эпохи. Слабо оцивилизованная область природного и, в частности, сексуального поведения давала о себе знать в широком распространении тех архаических форм, которые были распространены в России этого времени – промискуитета и гомосексуализма. Не поднимая большой и сложной темы историко-культурного ограничения этих архаических проявлений человеческой природы, лишь заметим, что разного рода культурные табу нарабатывались каждым обществом по мере созревания социальной потребности контролирования их. В свое время этнографами была выдвинута и обоснована данными этнографии и фольклористики гипотеза о производственно-социальных механизмах табуирования промискуитета в примитивных обществах [15. С. 295; 16. С. 111–112]. Смысл этого механизма раскрывался на материале охотничье-производственных инициаций. По мере того как охота начала приобретать все более организованные формы, нарабатывался опыт подготовки к ней. Всякого рода конфликты представляли собой особую опасность для коллектива. Гендерные в первую очередь. И потому обряд инициации предполагал сексуальное воздержание юноши, которое впоследствии естественным образом компенсировалось свойственной всякому воздержанию силой избыточности. Неудивительно, что инициационные обряды многих народов содержат в себе как обязательный момент оргиастического поведения. Заметим, что не только у охотничьих народов. Египетский, древнегреческий материалы, свидетельствуют о том, что данные механизмы «сбрасывания пара» лежали в основе эволюции разных культурно-ритуальных практик у разных народов.

Можно предположить, что тот же механизм лежал в основе и анализируемой игры в покойника. В общекультурном смысле он отражал закрепленную в ритуале потребность канализировать накопившийся эмоциональный груз, связанный с запретом. По мере интериоризации запрета, по мере того как оцивилизовывалось общество и личность, этот страх должен был ослабевать, а потому и конвертироваться в смеховое пародирование самого действия. Подобного рода ритуальные игры, особенно важные в лиминальные, переходные периоды жизни, в частности, от юношеской стадии к взрослой, как представляется, могли быть чреватые и регрессиями к старому архаическому опыту. С известной долей натяжки можно предположить, зная о гиперсексуальной свободе поведения взрослого Ивана, об инвективах в его адрес Сильвестра и Максима Грека, что и потешная игра в покойника могла вылиться во вполне материализованное «бесчинство». Но, оставляя за скобками данное предположение, можно со всей определенностью говорить, что само участие в описанной игре говорит о проснувшихся инстинктах Ивана, которые с неизбежностью должны были натолкнуться на закрепленные культурной традицией морально-религиозные табу. Его идентичность несла на себе печать общекультурной авторитарной нормы, и смех Ивана, отзвуки которого донесли до нас летописная запись, за внешне нераспознаваемыми формами обнаруживает смысловую напряженность ярко выраженного противоречия установок его сознания и поведения.

Опять-таки косвенно, но характер смехового действия может служить маркером этой напряженности. Ост-

рожная брань, которая звучала во время игры, тот параллелизм, который можно обнаружить в непристойных песнях, звучавших на праздниках дураков в Европе, в скатологических вольностях скоморохов на Руси и шутов в Европе, может многое раскрыть в характеристике ментального склада той эпохи. Обсценный, по меркам современного общества, непристойный характер этих шуток и действий, как правило, связанных с материально-телесным низом, интерпретируется исследователями как выражение унаследованного от древности культового эротизма, носившего не просто снижающий, но одновременно животворяще-утверждающий характер [17. Гл. 5 и 6; 12. С. 158]. Природа обсценного высмеивания, как представляется, может быть расшифрована в своих глубинных социально-психологических истоках, если принять во внимание, насколько тяжелы и обременительны были на начальных стадиях оформления тех или иных цивилизаций наработавшиеся социокультурные табу. Неудивительно, что этот груз давящей на природу нормы порождал высокую степень невротичности человека, которая и снималась классически отработанными средствами. К. Хорни подчеркивает, что секс, алкоголь, агрессия идут рука об руку в качестве компенсаторных средств, позволяющих снять эту напряженность.

Обсценные ритуалы и шутки появились в процессе наработывания обществом способов упорядочивания, канализации этих защит, которые могли обретать и неконтролируемый характер. Недаром во время карнавалов в Европе власти издавали распоряжения, запрещающие, в частности, носить оружие во время него. Можно предположить, что чем агрессивнее звучит смех в той или иной обсценной шутке или ритуале, тем проблемнее для человека того или иного социума на определенном отрезке исторической динамики соблюдение культурно-религиозной нормы. Тем сильнее, можно сказать, страх перед ней, тем выраженной загнанное вовнутрь желание нарушить ее.

Следует оговориться, что степень невротичности общества в тогдашние времена была несомненно выше, чем в современном мире, о чем красноречиво свидетельствуют, скажем, такие явления, как коллективные покаянные процессии или же феномен флагеллантов. Так же как и характер семейных отношений в те времена при всех различиях семейных модусов воспитания в разных историко-культурных средах, не мог не продуцировать более отчужденный и невротичный вариант детской социализации, чем в нынешнем мире.

Накопленный наукой материал историко-культурного характера позволяет говорить о том, что социально-психологическая структура личности (опять-таки в веберовском, модальном смысле слова) образца XVI в. носила авторитарный характер, с выраженно невротичными чертами, что прозрачно выявляет картина воспитательных практик того времени. Достаточно сослаться на самый авторитетный «педагогический» текст того времени, который резко контрастирует с аналогичными ему европейскими трактатами, посвященными воспитанию, – «Домострой». «Любя сына своего, учащая ему раны, да последи о нем возвеселившись, казни сына своего измлада и порадуешься о нем в мужестве... И не даж ему власти в юности, но сокруши ему

ребра» [18. С. 132, 134]. Побои, причинение боли являлись общими элементами тех жестоких, по меркам нашего представления, практик воспитания в традиционных обществах, благодаря которым и нарабатывались на ранних стадиях исторической эволюции социализирующие личность ограничители природного эгоизма в самых разных его проявлениях. Средневековая эпоха как на западной, так и на русской исторической почве во многом воспроизводила этот древний модус аккумуляции или воспитания личности. Даже принадлежность к королевской семье не освобождала от побоев. Яркий пример тому – детство Людовика XIII, запечатленное дневниками его врача – Эроара. За обедом рядом с его отцом лежал кнут. Даже в день коронации восьмилетнего Людовика XIII подвергли порке [19. С. 67].

Очевиден психологический параллелизм средств воспитания физического свойства в это время методом аккумуляции личности этико-религиозного характера. Проповеди, наставления, житийная литература несли существенный отпечаток того психологического насилия, которое сопровождало физические воспитательные средства. Основным арсеналом средств церкви был связан с педализацией чувства страха в человеке перед нарушением общепринятой нормы. Страх перед Страшным судом, перед Богом, страха, который испытывала личность, подвергнутая религиозному остракизму – будь то анафема или интердикт и т.д. Отчасти именно здесь крылись причины гораздо менее выраженной тенденции к индивидуализации личности. Диктат общепринятой авторитарной нормы выражался и в соответствующем психологическом складе. Еще раз подчеркнем классический закон развития психики, поразному сформулированный и Э. Фроммом, Э. Эриксеном и другими исследователями, – подчинение, подавление, маркирующие авторитарный стиль отношений, порождают неуверенность ребенка, которая в условиях фиксированности этого стиля отношений с авторитетом может развиваться в скрытую или явную враждебность к окружающим, прежде всего к самой фигуре авторитета, что в дальнейшем может обернуться формированием базальной тревожности, садо-мазохистских черт характера. [9. С. 33–34, 124].

Однако описанный комплекс нуждается в уточнении. Сам Фромм разделял два варианта проявления авторитарного характера. В одних случаях он может демонстрировать мятежные, бунтарские склонности в отношении фигуры авторитета, в других эти тенденции могут быть настолько подавлены, что смогут проявиться лишь при ослаблении контроля сознания. Важно подчеркнуть, что открытое бунтарство нередко проявляет себя в обстоятельствах, когда, казалось бы, отсутствует объективная почва для него [20. С. 117]. Добавим, что и в формах, которые могут являться неадекватными по своей силе и стилистике рационально несоответствующей реакции на ситуацию. Фромм не расшифровывает причин возобладания той или иной тенденции. Теории установки и невротической личности Хорни позволяют восполнить эту методологическую лауну с помощью своего концептуального аппарата. На уровне единой нефиксированной установки, определяющей общую картину подсознательных автоматизмов психики, свидетельствующих об определенной готовности

личности реагировать на ситуацию тем или иным образом, обе эти тенденции не могут не сосуществовать. Однако всякий предшествующий опыт, закладывающий подсознательную готовность поступить тем, а не иным способом, является своего рода результатом накопления определенного багажа установок, конфигурация которых будет зависеть от того, насколько удавалось или не удавалось личности преодолеть этот страх. Такого рода баланс установок, как нам представляется, во многом был ответствен за ту противоречивость настроений Ивановой натуры, которая столь часто отмечалась исследователями. Посмотрим, подтвердится ли это последующими изменениями его идентичности?

Ключевую роль в этих изменениях на этапе перехода от юности к взрослому возрасту сыграли события, связанные со знаменитыми пожарами 1547 г. и первым настоящим военным походом Ивана, которые повлекли за собой выраженное изменение его умонастроения, имевшие серьезный резонанс в практике отправления власти. Московские пожары весны–лета 1547 г. едва не уничтожили город. Бояре и народ винили в них Глинских, родственников и любимцев царя. Заметим, что реакция, достаточно схожая с механизмами работы сознания людей той эпохи, к какому бы этнокультурному сообществу они не принадлежали. Если существует социальная напряженность, она требует обязательного выхода накопившейся агрессии. Достаточно появиться любому поводу, чтобы лицо или группа лиц, вызывавшие раздражение, рационализировались в образах негативной мифологизации.

Фактически правившие вместо него родственники царя навлекли на себя такую ненависть противников, что те сумели возбудить «черный люд», натерпевшийся от их насилий и грабежа. Началось самое настоящее восстание. Все свалившиеся на их головы невзгоды люди рассматривали как результат, с одной стороны, волхований княгини Анны, матери Михаила Глинского, с другой стороны, как свидетельство проявления Божьего гнева. Не останавливаясь подробно на этих событиях, подчеркнем, что они, без сомнения породили мощный психологический кризис Ивана. Позднее он признавался, вспоминая об этих событиях: «И от сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моя и смирися дух мой» [21. С. 523]. О том, что именно такой была эмоциональная реакция великого князя, свидетельствует и «Летописец Никольский», в котором сообщается, что государь «удивися и ужасаеся» [22. Т. 4. С. 621]. Именно этой реакцией только и возможно объяснить денежный вклад, привезенный Алексеем Адашевым в сентябре 1547 г. в Троице-Сергиев монастырь, в 7000 руб. Беспрецедентный по меркам того времени (ни одно из пожертвований предшествующего правления отца и деда и близко не могло сравниться с ним), он свидетельствовал о неизжитом страхе Ивана и попытке умиловить Бога.

Аналогичный удар Бог «нанес» Ивану и зимой 1548 г., когда провалился поход против казанских татар. Подвел ледовый покров Волги: из-за наступившего неожиданно тепла он начал таять, утонули не только пушки и пищали, но и часть войска. Официальная летопись сообщает, что царь вернулся в город «с многими слеза-

ми». Б.Н. Флоря отмечает и другое выражение летописца – необычайная теплота зимой наступила «Божьим смотрением» [8. С. 24]. По-видимому, именно так и только так воспринимал эти события и сам Иван. Во всяком случае, вряд ли вне такого допущения можно понять последующее «смирение» молодого царя, его отказ от «безчинств», попытку сообразовать свое поведение с Божьими заповедями, что явным образом проявилось во всем его поведенческом облике. По сути это был первый серьезный кризис идентичности царя. И «многие слезы» маркировали его остроту и неспособность справиться с ним своими силами.

Последнее утверждение аргументируется как самой исторической фактурой последующих событий, так и концептуальным знанием, наработанным в психологии и уточненным применительно к конкретному историческому времени. Неоспорим факт сближения Ивана IV в этот период с его будущим наставником и духовником Сильвестром [23. С. 319; 24. С. 32–35; 25. С. 77–78]. Сам Иван в Первом послании Курбскому писал, что «спасения ради души своея» он стал повиноваться своему новому духовному пастырю. Характер этого наставничества можно со всей очевидностью уловить, полагаясь не только на отдельные реплики современников (Курбский писал, что Сильвестр явился к царю «заклинающе его страшным Божиим именем»). Иерей использовал «кусательные словеса нападающие... и порицающие» дабы крепкой уздой удерживать «невоздержание, и преизлишнюю похоть, и ярость» [10. С. 89]), но на общую стилистику текстов Сильвестра, отражающих авторитарную структуру его сознания. Достаточно обратиться к уже цитировавшимся страницам «Домостроя».

Заметим, что отказа от тех же грехов требовал в своем обращении к царю и Максим Грек, по-видимому, и Макарий. И опять-таки подчеркнем – стилистика наставления и характер восприятия молодым царем этих наставлений со всей очевидностью свидетельствуют об авторитарной природе сознания той и другой стороны. В одном из посланий Максима Грека Макарий изображается «учаща и советующа царю своему», а Иван – «покорне послушающа и приемлюща архиерейские советы и поучения» [26. С. 360].

Именно «страх, вошедший в душу», привел к тому, что оказалась открытой к наставлению та сторона идентичности Ивана, которая была «ответственна» за готовность не властвовать, но подчиняться. Ослабшее «Я» смогло принять диктат нормы и следовать до поры до времени в фарватере тех решений и ценностей, что на данном этапе олицетворял авторитет. Небрежение своими обязанностями, которые демонстрировал Иван до этого времени, ушло в прошлое. Восприняв и усвоив предложенное Сильвестром объяснение причин бедствий, постигших его самого и вверенное ему царство, Иван, как известно, удалил от себя потешников и содомитов, стал вникать в государственные дела

Именно этот период правления Ивана IV был периодом наиболее интенсивной реформаторской деятельности нового его окружения, вошедшего в историческую литературу под названием «Избранная Рада». Вопрос о том, кто являлся автором этих реформ, вызвал немало споров в исторической литературе. Не вступая в дискуссию по этому вопросу, достаточно бесперспек-

тивную с точки зрения четкой определенности авторства тех или иных реформ, имеет смысл подчеркнуть, что неясность в определении их характера, равно как и споры по поводу их направленности, лишний раз свидетельствует о том, что реформы, во многом изменившие и характер государственных институтов, и отношения их с сословиями, были сложным явлением, отражавшем всю противоречивость социальной ситуации в России этого времени. Несмотря на эту оговорку, автору данных строк кажется возможным утверждать, что наметившийся рост городских, посадских слоев, связанных с ремесленно-торговой деятельностью, внес существенно важную интонацию в реформирование, благодаря которому создавались условия для инноваций уже не традиционно феодального, но иного образца. Да, конечно, реформа системы управления прежде всего повлекла за собой резкое увеличение размеров Боярской думы. Да, конечно, судебник 1550 г. нанес серьезный удар по свободе крестьян. Однако не следует забывать, что эти же реформы создали необходимые гарантии безопасности посадскому и отчасти сельскому населению, создав в ходе «земской реформы» суд выборных земских старост (отобрав соответствующие права от наместников и волостителей). Не следует забывать, что именно в середине века было законодательно оформлена такая важная правовая привилегия посадских людей, как торгово-ремесленная монополия, распространявшаяся на территорию определенного города. Стоит вспомнить и о закрепленном за духовенством праве на ту независимость от государственной власти, которой добилось католическое священство Запада еще в XII в. Словом, при всей противоречивости реформы говорили об одном – начался процесс оформления сословных корпораций как социальных общностей, способных отстаивать свои интересы. Процесс, во многом напоминающий те формы, в которых развивалась западно-европейская мир-система на пути Перехода от традиционности к новоевропейской социальности.

Неудивительно, что наиболее пассионарные представители обновлявшихся социальных страт искали путей и средств влияния на государственную власть и управление страной. Потому и появлялись в орбите королевской власти такие лица, как Ногаре, Кер, Филипп де Коммин, Уильям и Джон Хоукинсы и многие другие представители того неблагородного люда, которые не имели родословной, но умели быть полезными монарху, обладая новыми навыками – искусством добывания денег и искусством политической интриги. Неслучайно, что в окружении и русского царя окажутся такие люди, как Сильвестр и Адашев – знаковые фигуры трансформирующейся природы государственной власти. И дело было не столько в том, что происхождение как того, так и другого в прежние времена вряд ли дало им шанс достичь столь высокого положения при дворе, сколько в том, что они были связаны с той сферой, которая являлась основным генератором трансформаций новоевропейского образца – сферы торгового оборота и ремесла.

Забегая вперед, подчеркнем, что медленное, по сравнению с Западной Европой, оформление этой сферы как полноправной ниши социальной жизни, слабость русского «бюргерства», «рыхлость» его само-

уважения и сознания во многом проясняют и природу начавшего формироваться в России раннего абсолютизма. Ведь само это явление не сводилось лишь к институту монаршей власти двора. Повсеместно эта форма государственности отражала усложнившуюся структуру социального тела, приобретшего благодаря оформлению городского или бюргерского сословия новую конфигурацию, которая отливалась и в новую расстановку сил межличностного характера. Именно она давала шанс монарху утвердить свои властные претензии на верховенство.

От того, насколько сильны были противорессы властному центру в лице сословий, зависела историко-психологическая, социально-культурная физиогномия этой формы властвования. Но сословия имеют возможность показать свой ресурс влияния прежде всего посредством личного общения с правителем тех или иных лиц, принадлежащих к корпорации. Известно, что в системе координат европейского центра, т.е. во Франции и Англии, равновесный расклад основных социальных сил привел к диалогической форме построения новой системы властвования, которая вынужденно шла на поиски компромиссов с сословиями. В ходе этих процессов, лавируя между теми и другими, королевская власть опять-таки вынужденно отработывала шаги, приведшие к оформлению политики протекционизма и меркантилизма. Именно характер исторического диалога-конфронтации сословий и власти способствовал и быстрому росту сначала сословного, а затем индивидуального самосознания, менял психосоциальную идентичность общества, во многих своих нишах сумевшую прирастить серьезный капитал *рациональных практик мышления*.

Последние слова выделены неслучайно. Именно с этим объективно обусловленным процессом более быстрого наращивания рационального инструментария мышления, который конечно же был ограничен рамками возможного, и было связано, с нашей точки зрения, менее конвульсивное, менее хаотичное, без серьезных срывов движение стран европейского центра в сторону новоевропейского уклада жизни. Да, оно также несло в себе черты иррациональности и непоследовательности, также сопровождалось социальными эксцессами, порой носившими едва ли не национальный характер (достаточно вспомнить Религиозные войны во Франции), но страны центра европейской мир-системы не попадали в такой «клинч», который бы повлек за собой столь мощный откат назад, срыв наработанных инновационных практик, который будет иметь место в России во время и после опричнины.

Сделав это небольшое отступление, вернемся к проблеме окружения Ивана. Факт появления таких людей, как Сильвестр и Адашев, у кормила власти все же говорит о том, что феодально традиционная природа государственной власти постепенно начала мутировать. Эти люди, преследуя прежде всего свои интересы (а по-иному и не могло быть), накладывали серьезный отпечаток на принимаемые властной фигурой решения. С нашей точки зрения, едва ли не решающим моментом, свидетельствовавшим о возросшей силе влияния новых социальных сил на политику нарождавшегося абсолютизма, равно как и об относительной слабости

этих же сил, явилась Ливонская война. В скобках заметим, что ранний абсолютизм в Европе получил свой импульс и обнаружил новое «лицо» королевской власти именно в процессе и благодаря войне. В странах европейского центра это были знаменитые Война Алой и Белой Роз в Англии и война Людовика XI против Лиги общественного блага.

Именно война обеспечила «новые горизонты» деятельности слоев, втянутых в ремесленно-торговую деятельность. Именно она могла дать материальный и символический капитал набиравшему силу служилому дворянству, ставшему опорой раннеабсолютистских монархов. В ходе упорнейшей кровопролитной войны за власть была заложена основа того диалога мелкого рыцарства и бюргерства, которая позволила английским Тюдорам справиться с оппонентами в лице Ланкастеров, олицетворяющих в глазах современных историков отсталый Север в противовес развитому Югу, находившемуся под контролем Йорков, и проводить успешную инновационную политику, которая безусловно не могла быть осмыслена в терминах нашего современного языка и сознания.

Говоря об этом диалоге, не стоит забывать, что он безусловно не был продуктом рационально выстроенного целеполагания, свойственного стилистике современного мышления. Основные агенты социального поля действовали, как сказал бы Бурдьё, движимые диспозицией собственных «узкокорыстных» интересов, макроисторический сословный характер которых не мог быть осознан. Забота о сохранении власти двигала как английскими, так и французскими королями. В ходе борьбы за нее монархия имела шанс использовать в своих целях тех, кого не очень-то ценила, но чьи услуги были как нельзя кстати. Людовик XI сделал первые шаги по пути политики протекционизма и меркантилизма вовсе не будучи озабочен судьбами будущего III сословия, но нуждаясь в деньгах, с помощью которых он только и мог выиграть войну против Карла Смелого и его могущественных союзников, среди которых наряду с могущественными герцогами, между прочим, был и английский монарх. На подкуп потенциальных союзников или нейтрализацию противников нужны были весьма серьезные средства, которые взять было неоткуда, кроме как прибегнув к «помощи» такого партнера, как бюргерское сословие. Неудивительно, что Людовик совершит то, что в последующем будет с успехом делать и Петр Великий – раздавать привилегии за соответствующее вознаграждение, действуя при помощи «кнута и пряника». Именно так поступит французский король в случае с лионскими купцами, до этого времени не знакомыми с производством шелка, но вынужденными под нажимом монарха освоить эту новую, как покажет будущее, весьма доходную и престижную экономическую отрасль.

Конечно, этот ранний и в целом успешный (несмотря на все подводные рифы) для обеих сторон и общества диалог смог состояться благодаря накопленной и зафиксированной в устойчивых ментальных матрицах сознания традиции давнего взаимодействия королевской власти и бюргерства, уходящей своими корнями в далекое средневековое прошлое. В ходе коммунальных движений, в борьбе с могущественными сеньорами,

движимыми заботами о собственном кармане, бюргерство накапливало багаж той уверенности в монаршей поддержке, которую короли даровали ему вовсе не из социально-гуманных соображений, но меркантильно-политических. Именно зафиксированность в подсознании многократно повторявшегося исторического опыта в виде устойчивых социально-психологических ориентиров и заставляла бюргерство оказывать монархам необходимую помощь в трудных, казалось бы, безысходных обстоятельствах. М.А. Барг подметил, что в критической ситуации борьбы за власть решающим оказалось то, что Лондон открыл ворота Эдуарду IV [27], хотя злые языки и шутили, что в городе у Эдуарда было много союзниц. Горожанки, многие из которых помнили любовные утехы с падким на подобного рода развлечения королем, якобы уговорили своих мужей оказать помощь попавшему в затруднительную ситуацию королю. Однако причины лояльности были более серьезными. Город помнил, что именно он запретил посредническую торговлю венецианских и генуэзских купцов, именно он запретил и вывоз шерсти из страны, тем самым способствуя росту их дела. Этот путь, приведший страны центра к раннему оформлению заинтересованности государственной власти в поддержке национальной экономики, к политически толерантной и сбалансированной линии взаимоотношений с сословиями, отнюдь не был прямым и последовательным. В условиях необходимости прибегая к помощи потенциальных союзников из числа ротюры, не брезгуя ни их происхождением, ни сомнительными средствами решения тех или иных проблем (достаточно вспомнить совместные «предпринимательские» предприятия королевы Елизаветы и пирата Френсиса Дрейка), королевская власть, укрепляя себя, одновременно создавала благоприятный микроклимат для развития новых практик жизни, связанных с зарождением буржуазного уклада.

При этом заметим, что и здесь, в этом классически отлаженном варианте диалога короны и подданных, упрочившая свои позиции власть нередко переходила за черту той цивилизованности, которая ассоциируется у нас с уже закрепившейся законодательно-идеальной нормой. Достаточно вспомнить как сложилась судьба Жака Кера, финансиста и дипломата, оказывавшего важные услуги королю, который был обвинен в казнокрадстве, чеканке фальшивой монеты и, что самое примечательное, в колдовстве. Последнее обстоятельство представляется особо важным – оно свидетельствует, на наш взгляд, не только о слабых позициях данного слоя и непоследовательности политики королевской власти в отношении его на ранних этапах оформления абсолютизма, что не раз подчеркивалось историками, но и соответствующей, а точнее, о взаимосвязанной с данными явлениями медленной наработке рациональных процедур реагирования на возникавшие в ходе такого рода «партнерства» проблемы.

Чем традиционнее общество, тем устойчивее работают в условиях слабой рациональной оснастки мышления механизмы поиска «козла отпущения». На начальных стадиях ранний абсолютизм и в странах европейского центра был обременен этим наследием Средневековья. Причем, важно подчеркнуть, таков был алгоритм мышления эпохи, а не отдельных представите-

лей тех или иных слоев. Как выяснилось, и еврейские погромы, и охота на ведьм в Европе, особенно масштабно давшие о себе знать на рубеже именно Средневековья и Нового времени, были следствием как возникшей в обществе социально-психологической напряженности, связанной с развитием товарно-денежного уклада, процессов индивидуации всех сфер жизни, так и слабой способности отразить причины ее на личностном уровне. Страхи, связанные с разорением, с возможным фиаско на поприще наживы и другие механизмы порождали тот уровень невротической напряженности, который и приводил к социальным эксцессам порой весьма масштабного характера.

И здесь представляется методологически важным положение К. Хорни о том, что соразмерность, пропорциональность страха на возникшую реальную или воображаемую угрозу зависит от «среднего уровня познания, достигнутого данной культурой» [7. С. 34]. События, развернувшиеся в России вскоре после того, как начались первые сбои в ходе Ливонской войны, невозможно адекватно интерпретировать, не принимая во внимание это обстоятельство. Первые опричные эксцессы суть нечто иное, как выражение несоразмерной реакции на возникшую опасность, связанное с исторически обусловленной «ограниченностью» познавательных или интеллектуальных возможностей среды, их породившей, равно как и соответствующего им эмоционально-психологического реагирования. Чтобы дешифровать этот механизм, вернемся к фигуре Ивана и его поведению в данных событиях.

Напомним, что обретение новой идентичности царем, нашедшим спасение от мучивших его страхов в следовании советам своих новых наставников, во многом стабилизировало жизнь при дворе и нормализовало деятельность всех государственных служб. Это отразилось отчасти и во внешнеполитической активности. Представители разных социальных сил, но прежде всего дворянства и купечества, были заинтересованы в расширении границ Московского государства, в обеспечении благоприятных условий торговли. Далеко не случайно в этот период вырисовываются два наиболее важных направления военной активности. Первое – восточное, Казанское и Крымское, в котором были заинтересованы прежде всего купцы, мечтавшие о безопасности торговли по Волжскому пути, ведущему в богатый шелком Иран, в свою очередь являвшийся уже емким рынком для русской ремесленной продукции. Экспансия в этом направлении могла обеспечить и аппетиты растущего военно-служилого сословия. Второе направление – северное, или Ливонское.

Относительно войны с Ливонией у ряда исследователей сложилось устойчивое представление о том, что непосредственно царь был инициатором этого предприятия. А.Л. Хорошкевич в своем фундаментальном труде, посвященном внешней политике России середины XVI в., отмечала, что у современных историков сложилось превратное представление «будто царь не только ясно и четко осознавал пользу прямых торговых контактов со странами Северной, Западной и отчасти Центральной Европы, но именно торговые интересы и толкали его к войне с Ливонским орденом» [25. С. 204]. С такого рода если не явными, то скрытыми допущениями

можно нередко столкнуться в целом ряде работ. Шлейф подобного рода допущений – озабоченность проблемами укрепления государства, международного престижа России, наряду с отмеченной заинтересованностью в торговых контактах, – существенно модернизирует картину как сознания и поведения царя, так и эпохи в целом. Безадресное приписывание русской государственности прагматической заинтересованности в войне является большой профессиональной натяжкой. Куда как больше оснований согласиться с Б.Н. Флорей, отмечавшим, что относившийся с явным презрением к «торговым мужикам» и их «прибыткам» царь не мог обратить внимания на невыгодную для России политику Ливонского ордена [8. С. 123–124]. Это мог сделать, в частности, его наставник, хорошо знакомый с положением дел и связанный с купеческой средой.

Хорошо известно, что именно опережение Европы, быстрый рост промышленного производства в ряде ее стран, рост городов послужили мощным стимулом для вывоза сельскохозяйственной продукции из стран так называемой третьей субсистемы, к которым относилась и Россия, на европейские рынки. Но в силу того что ливонские купцы занимали монопольные позиции в области балтийской транзитной зоны, русское купечество, ущемленное тем, что торговая прибыль оседала в карманах чужеземцев, пыталось побудить правительство помочь ему в решении данной проблемы.

В этом смысле весьма логичным представляется предположение исследователей, что именно Сильвестр (наряду с Адашевым) сыграет большую роль в решении вопроса о ливонском направлении во внешней политике. Такого рода гипотеза подкрепляется данными о сфере интересов духовника Ивана IV, который был не только религиозным интеллектуалом и наставником, но и успешным предпринимателем своего времени, что, кстати говоря, характеризует и втягивание духовенства в новые реалии жизни. Крупным купцом был и его сын, служивший дьяком в «царской казне у таможенных дел». Среди их партнеров были и иноземцы – немецкие купцы, в частности бургомистр города Нарвы. Известно также, что именно Адашев вел все дипломатические переговоры, связанные с войной. У исследователей есть все основания утверждать, что Ливонская война была частью его военно-политического замысла. Кто как не служилое дворянство, особенно неродовитое, могло выиграть от этой войны? Чин окольничего, со всеми сопоступствующими ему благами, который получил его брат Данила Федорович, отличившийся под Нарвой и в более поздних военных столкновениях в Ливонии, говорит сам за себя.

Какова же была позиция царя в отношении этих военных предприятий? Мотивы Ивана IV проистекали из той тонкой сферы, именуемой исследователями умонастроением, которая очень точно уловлена характеристикой, данной А.Л. Хорошкевич. В уже цитированном труде читаем: «Опьяненный победой над Казанью, царь решил проводить политику экспансии и по отношению к Ливонии» [25. С. 149].

Для того чтобы перевести эту меткую, но образную характеристику в формат аналитического разбора возможной мотивированности поступков царя, понять сам характер вовлечения царя в решение вопроса о Ливонии

ской войне, необходимо вернуться к личностному переживанию молодым царем ключевых для него самого и его подданных событий, связанных с Казанским походом, равно как и с другими делами «его царствования» в период с 1547 по 1560 г. Как известно, царствование его было в большей степени номинальным, или символическим. Вытесненные Глинские уступили место митрополиту Макарию, Сильвестру, Адашеву и некоторым другим членам Избранной рады. (Конечно, будет натяжкой говорить о том, что именно этот круг заправлял делами в стране. Боярская дума, состоявшая из представителей знатных родов, олицетворявшая оплот традиции, не могла не играть значительной роли в принятии тех или иных «царских» решений.)

Неслучайно С.Б. Веселовский, подчеркивая невозможность приписывать Ивану роль инициатора реформ 1547–1556 гг., акцентировал тот пласт источниковой информации, который свидетельствовал о несамостоятельности и незрелости молодого царя в это время, позднее с негодованием писавшего в письме Курбскому, что бояре не давали ему ни в чем воли и оставили ему только честь председательства в боярском совете, а про участие в Казанском походе он прямо говорит, что бояре довели его «как пленника» [28. С. 11].

Однако успех Казанского похода многое изменил в поведении царя. Прежде всего он не мог быть воспринят иначе, кроме как свидетельство благоволения Бога к избранному царю и народу. Неслучайно в знак благодарности за дарованную победу на Красной площади по приказу Ивана возводится Храм Покрова «что на рву» (так в ту эпоху назывался собор Василия Блаженного), в пределах которого покоились души праведников, погибших в борьбе с бусурманами, отстаивая Христово дело.

Именно эти события должны были изменить конфигурацию тех базисных черт авторитарного характера Ивана, о которых речь шла выше. Если московский пожар и неудачи первого военного похода молодого царя привели к тому, что самооценка царя оказалась неадекватно заниженной (что рационализировалось как проявление гнева Божьего, требовавшего замолить грехи, отказаться от скверны), то казанская победа не могла не способствовать, как выразился бы современный психолог, несоразмерному завышенному представлению о себе. В скобках заметим, что отчасти тут уже крылись психологические истоки будущего разрыва с теми, кто наставлял царя, сдерживая необузданные проявления его «Я». Именно здесь следует искать и ответ на вопрос о роли Ивана в принятии решения относительно Ливонской войны. В этом смысле интерпретация А.Л. Хорошкевич как нельзя точно передает психологическое состояние царя – он действительно был опьянен победой под Казанью. В основе этого психологического ощущения лежал механизм обретения уверенности в себе, которая не могла не носить избыточно-нерациональный характер. Недавние страхи и трепет ушли на задний план, но, подчеркнем, вовсе не были «репрессированы» как доминантная установка сознания. Эта уверенность была рационализирована на единственно доступном уровне и языке тогдашних культурных мыслительных практик. Царь уверовал в себя как избранника Божьего, на ком лежит миссия спасения погрязшего в грехах мира.

Здесь уместно будет отметить, что такого рода «рационализация» ситуации царем и подданными возникла не на пустом месте. Весь предшествующий ход развития русского государства, расширившего свои границы, заставившего считаться с собой европейские страны, одержавшего победу над Ордой, создавал питательную почву для складывания той, как сказал бы П. Бурдьё, форс-идеи, которая, будучи соткана из казалось бы разрозненных обрывков прошлого индивидуального или серийного опыта, отвечала ожиданиям многих и могла мобилизовать их энергию [29. С. 60, 202]. Идея мессианской избранности Ивана имела сложные историко-психологические корни и аккумулировала в себе все важнейшие социопсихологические установки, которые были накоплены культурной традицией предшествующего времени. Периодическая актуализация этой форс-идеи в исторической памяти русского социума, тех или иных его представителей зависела от конкретно-исторических подтверждений этой «избранности». Уже в «Повести временных лет» можно обнаружить подобного рода рационализацию успехов русского воинства, стремившегося обеспечить свои вполне земные интересы в Византии как выполнение некой миссии, некоего Божественного замысла, связанного с наказанием греховного Града за алчность и корыстолюбие. Автору этого текста уже доводилось писать о том, что подобного рода рационализации срабатывали как механизмы защиты сознания личности, где естественное стремление, в частности княжеских дружинников, торговцев, к обогащению, будучи подавленным культурно-религиозными императивами («Христос изгнал торгующих из храма», «ремесло купца неугодно Богу» и т.п.) своего времени, вытеснялось и переносилось на других. «Наказывая» этих других за греховное поведение, воин получал своеобразную моральную индульгенцию от Бога за творимые грехи. В то же время благодаря работе защитных механизмов «репрессировалось» осознание собственных глубинных намерений, подавленных и сокрытых в своей неприглядной данности от неподготовленного к такому «открытию» человека тогдашней эпохи.

Не развивая полноформатной аргументации этого тезиса, акцентируем социально-историческую обусловленность религиозного артикулирования этой идеи, заметив, что русские монархи, «присваивавшие» себе этот «титул», не являются исключением из правил. Точно так же осмысливали свои успехи государи и в Западной Европе, с той только разницей, что в условиях динамично развивавшегося европейского мира с его малыми по сравнению с Россией масштабами, со сложностью социальной структуры полей сталкивавшихся между собой государств очень рано происходило осознание границ своей власти, а стало быть, и «избранности». Христиански универсалистская стилистика самоназвания империи Карла Великого уже в столь ранний период средневековой истории содержала в себе уточнение – он император и август «всех королей по сю сторону моря», однако его претензия на вселенскую власть уточняется добавкой «король франкский, римский и лангобардский» [30. С. 17–19]. Монархия в Европе благодаря этому особому динамизму наращивания опыта изживания универсалистских, имперских тен-

денций ранее всего обнаружила и тенденцию к сокращению миссионерски-вселенских притязаний, что отчасти фиксируют и самоназвания их – скажем, Священная Римская империя германской нации.

В русском культурно-историческом и религиозно-психологическом универсуме отделение *genum* от *sacerdotium* происходило гораздо медленнее, чем на Западе. Потому и неудивительно, что ряд исследователей отмечают, что взгляды Ивана не лишены были идеи жертвенности. Особа царя оказывается слитой с царством [31. С. 155–167; 32. С. 139–147]. Однако надо помнить, что религиозная мифологема или рационализация всегда скрывала за собой определенную социально-психологическую реалию, имевшую вполне определенный бытийственный контекст, связанный с потребностью. Именно в таком ракурсе может быть понято и решение Ивана относительно Ливонской войны.

Возведенный на царство, одержавший победу над могущественным противником в лице казанского хана, уверовавший в себя царь ищет подтверждений своей богоизбранности. Эта потребность в самоутверждении, подпитываемая всей атмосферой широко распространенных умонастроений окружения царя, имевшая в качестве базовой психологической установки обретение власти в самом широком смысле слова, была едва ли не решающим обстоятельством в принятии решений о Ливонской войне.

Остается до конца не выяснено, насколько дебатировался этот вопрос в кругах правящей элиты. Объективно война была в интересах прежде всего купечества и служилого дворянства. Можно согласиться – противники войны в этом направлении были и дебаты по ее поводу наверняка были не менее жаркими, чем баталии по поводу литовской политики в Ближней думе царя, начиная с 1549 г., о чем красноречиво свидетельствуют посольские книги [25. С. 198, 209].

Вряд ли в ней могла быть до такой степени заинтересована родовитая боярская элита, как мелкое служилое дворянство и купечество, ищущие «прибытков», и тем не менее утверждать, что вся феодальная аристократия с самого начала противодействовала войне, будет явной натяжкой. Достаточно сослаться на пример Курбского, чтобы признать невозможность такого жесткого разведения сословно ориентированных предпочтений, определивших позиции представителей боярства и дворян в данном вопросе.

Вместе с тем нельзя не признать, что сознание служилых дворян, принадлежавших к кругу, к которому относился и Алексей Адашев с его братом, объективно было более восприимчиво к идее войны, чем сознание боярской аристократии. Думается, что правы те исследователи, которые полагают, что именно их умонастроения отражали взгляды Ивана Пересветова, который, прибегая к аллегориям, по сути критиковал нравы московских бояр, когда напоминал, что православное византийское царство погибло по вине «ленивых богатин», вельмож. В его воображении идеальным образцом выступала Османская империя, возникшая на обломках греческого царства и добившаяся могущества и процветания благодаря «воинникам» [33. С. 257]

Нельзя не согласиться с мнением известных историков, что в этом тексте была впервые сформулирована

идея приобщения дворянства к государственным делам, что подразумевало и ограничение «политического господства знати» [33. С. 257]. Но лишь с поправкой. В такой формулировке имплицитно содержится элемент той самой модернизации, которая зачастую проистекает из сложности реконструкции сознания людей отдаленных эпох. Следы этой модернизации можно обнаружить в множестве солидных концепций. Попытки интерпретировать опричнину как результат борьбы между феодальной аристократией и поднимающейся самодержавной властью, равно как следствие столкновения родовитой знати, боярства со служилой аристократией, достаточно укорененные в отечественной литературе, при всей продуктивности наработанных подходов, отчетливо выявивших объективную разницу интересов этих социальных сил, не учитывают одного – сознание сословий в тогдашнюю эпоху не обладало тем интеллектуально-рациональным ресурсом, который позволял бы им устойчиво атрибутировать собственную принадлежность к какому-либо из них и сколько-нибудь последовательно выстраивать политическую линию поведения, в основе которой лежал бы осознанный политический интерес. Однако в условиях той повышенной активности оформлявшегося дворянского слоя, чье возвышение было связано во многом с войнами, обеспечившими государству расширение границ и усиление его мощи, это самоосознание должно было постепенно проявляться в структуре слабодифференцирующей границы сословной и индивидуальной принадлежности ментальности людей. Поэтому можно согласиться с тем, что человек, предположительно принадлежавший к шляхетскому сословию, много повидавший за свою карьеру, смог впервые идентифицировать свои личные интересы с интересами себе подобных людей из служилого сословия. Однако это был, заметим, единственный, по крайней мере из сохранившихся, текст, запечатлевший вполне рациональный, хотя не лишенный мифологических коннотаций, срез сословного самосознания, исходящего из ощущаемого единства интересов сословия, пусть и отождествляемых с интересами царства.

Быстрее наращивавшее десакрализирующее его стилистику теvedенции сознание социальных слоев и групп западно-европейской мир-системы, конечно, также сохраняло в своем инструментарии большой массив традиционных представлений. Однако контраст с русской действительностью виден уже в том, как иностранцы удивлялись, что в Московии люди «волю царя считают божьей волей, и все, что делает великий князь, считают угодным Богу. Царя своего именуют ключником и постельничьим божьим, а когда не знают, что ответить, говорят: «про то ведает только бог да великий государь» [34. С. 134].

О заинтересованности торговых людей достаточно много написано в исторической литературе. При всем том, что тексты источников нередко свидетельствуют о том, что свой прагматический интерес его представители вполне рационально осмысливали, можно утверждать, что на уровне единой нефиксированной установки сознания у представителей этих слоев рациональные и сакральные мотивы были рядоположены. Форс-идея, двигавшая Иваном, – его величие как Из-

бранника Божьего – разделялась и подданными, так как она, как сказал бы Бурдые, отвечала их чаяниям. Именно она придавала особую легитимность их воинственным устремлениям, связанным с вполне земными торговыми интересами.

Учитывая, насколько востребована была данная форс-идея, становится понятным, почему основной составляющей внешней политики на данном этапе являлась борьба за признание царского титула Ивана. Именно к такому выводу пришла А.Л. Хорошкевич, проанализировав огромный массив источникового материала, связанного со сферой внешней политики русского государства в середине XVI в. Победа в Ливонии, писала она, дала бы Ивану мощный аргумент в его противостоянии Сигизмунду Августу. И добавляет: здесь проявились «гипертрофированное желание утвердить себя в качестве истинного и законного приемника и наследника Пруса», забота о поддержании истинного христианства [25. С. 198, 204]. За последней, как уже отмечалось, скрывались многие до конца неосознаваемые ожидания самых разных слоев.

Именно эти идеалы, можно предположить, внушались молодому царю его наставниками. «Не изнемогут, – писал Сильвестр царю, – оружии твои... и грады поганых тебе не затворятца» [8. С. 66]. Бог проявит милость к вверенной ему земле, если царь будет следовать советам его христианских наставников. Именно с идеалом правителя, заботящегося о судьбах вверенного ему христианского царства, пытался идентифицировать себя Иван. Важно подчеркнуть, что сама идея избранности и величия христианского царства была актуализирована в его сознании и сознании его подданных не только благодаря Казанской победе, но и той подпитке, которую она должна была получить на протяжении последних полувековых побед этого христианского царства. Именно эти победы на данном отрезке исторического пути России, обусловленные всем предшествующим ходом ее исторического развития, позволили автору одного из самых фундаментальных трудов по внешней политике выделить именно период второй половины XV – начала XVI в. как время укрепления престижа России на международной арене и время оформления политической доктрины самодержавия. С такого рода интерпретацией вряд ли есть основания спорить. Она многое поясняет в кристаллизации означенной форс-идеи, если иметь в виду то самое уточнение, которое не раз уже звучало в этом тексте относительно необходимости корректировать сами формулировки, которые невольно модернизируют историческую картину сознания. Безусловно, многочисленные «авторы» политической доктрины не могли осознавать и не осознавали природы ее генезиса и их сознание оперировало иными понятиями. В случае Ивана – его избранности Богом во имя спасения истинной веры во всем мире.

В этой связи, равно как и в связи с вопросом о Ливонской войне, представляется уместным вспомнить, что писал С.Б. Веселовский по данному поводу. Отмечая, что Иван усвоил корпус идей о величии царской власти, он подчеркивал, что они ничего не давали ему для понимания окружавшей его действительности. Ссылаясь на В.О. Ключевского, историк акцентировал от-

сутствие какой-либо политической программы у царя [28. С. 25]. Однако такой программы не было и у его советников. Да и могли ли быть интересы человека той эпохи осознаны и выстроены в сколько-нибудь долговременном режиме? Даже ближние последствия тех или иных событий просчитывались чрезвычайно плохо. Что и показали события Ливонской войны.

Именно поэтому даже такие дальновидные деятели эпохи, как Сильвестр и Адашев, выступали за то, чтобы начать войну. Принятое решение несло на себе все черты закономерности его возникновения, если говорить о сознании его основных авторов, сознании, обусловленном всем алгоритмом культурно-исторической обусловленности его функционирования. Несмотря на противодействие той части советников, среди которых, как мы предположили, должно быть больше представителей боярства, нежели других сословных чинов, царь должен был с охотой слушать тех, кто устами Сильвестра и Адашева ратовал за начало войны с Ливонией. Его самоидентификация, равно как и сложившаяся зависимость от мнения данных лиц, – вот факторы, которые прямо и опосредованно вскрывают логику исторической причинности, складывающейся из объективно формирующихся мотивов человеческой деятельности.

Однако особенность авторитарной структуры сознания заключается в том, что как только создаются условия для разрыва с авторитетом, как только личность накапливает ресурс психологических установок, позволяющих ей утвердиться в своей роли, фигура авторитета, ранее внушавшая ей почтение, если не страх, вызывает подсознательный протест, который может вылиться в стилистику поведения бунтарского типа. Именно в этом ракурсе можно найти психологическое объяснение скорого разрыва Ивана со своими наставниками, который внесет свою лепту как в изменившееся поведение Царя, обретавшего все более проявляемые черты будущей тирании, так и утрату контактов со средой, с которой были связаны инновационные импульсы.

Хорошо известно, что сам Иван относил перемену в его взаимоотношениях с наставниками и советниками к событиям, связанным с его тяжелой болезнью в 1553 г. Не останавливаясь на деталях последовавшего конфликта с окружением, подчеркнем важнейшую роль этих событий в актуализации глубокого, связанного с детским опытом психологического комплекса – базисного недоверия к миру. Логика тех, кто в условиях царской болезни попытался разыграть карту Владимира Старицкого, вполне понятна. Если царь был настолько тяжел, что, по выражению летописи, «мало и людей знаяще», часто находился в беспамятстве, то неудивительно, что та часть боярства, к которой Иван не благоволил, сторонники Захарьиных, явно стала строить свои планы. Но мысливший категориями своего времени царь мог расценить это лишь как греховное отступничество от христианского долга. Б.Н. Флоря очень точно подметил, что в многочисленных высказываниях по этому поводу царь выступает как человек, непримиримо враждебный боярам и сам уверенный в их враждебности, вплоть до убеждения, что борьба с ними может привести к гибели его сторонников и бегству его наследника в «чужую землю». При этом исследователь напоминает, что еще С.Б. Веселовский говорил, что эти слова царя находятся в глу-

боком противоречия со всем, что известно о его отношениях со всем окружением. И, далее заключает исследователь, «перед нами, очевидно, вымыслы, возникшие в сознании царя много позже, в эпоху острых конфликтов эпохи опричнины, когда у него действительно возникали опасения, что ему самому придется бежать в чужую землю» [8. С. 71–72].

Если мысли о возможном бегстве можно действительно признать экстраполяцией осмысления поздней ситуации на события тех дней, то это вовсе не исключает реальности чувства враждебности, которое всегда сопутствует психологическим ощущениям авторитарной личности, оказавшейся в ситуации дискомфорта, угрожающего его самоидентификации. Даже если эта враждебность в условиях невозможности ее реализовать будет подавляться. Собственно говоря, здесь скрыты и причины разрыва с Сильвестром и Адашевым. Хотя они и не принадлежали к сторонникам Владимира Старицкого, и более того, последний пытался разрешить конфликт исходя из интересов Ивана, царь не мог понять, что даже если бы они и захотели, то не могли повлиять на бояр в ситуации, когда она вышла из под контроля.

Думается, что правы те исследователи, которые отмечают переломный характер этих событий для сознания царя. Сложился целый комплекс оснований для того, чтобы был актуализирован тот самый бунтарский импульс в сознании авторитарной личности, который приведет к разрыву с прежним авторитетом, будучи сопровождается мучительным кризисом идентичности царя. Сама болезнь, равно как и боярская крамола, говорили, что «кротостию» и «правдой», следованием советов наставников не добиться расположения Бога. И в то же время последний, даровав царю победу над Казанью, явно дал ему понять, что он избран.

Мучительно ища ответ на причины постигших его несчастий, Иван уже не был прежним юношей, чье Эго было столь слабым. После Казани он «вошел в роль» и укрепился в осознании своего права на безоговорочную власть как спасителя христианского царства. Однако поведение подданных ставило под сомнение данную идентификацию. Отсюда психологическая напряженность поисков, выраженная в словах царя во время пребывания в Троице-Сергиевом монастыре, где он остановился по пути на богомолье после болезни. Запечатленная троицким келарем Арианом Ангеловым, она отражает раздражение почувствовавшего вкус власти монарха: им (подданным) подобает «имети страх мой на себе и во всем послушливыми быти» и «страх и трепет имети на себе, яко от Бога ми власть над ними и царство приемъше, а не от человек» [8. С. 73]. Желание внушать страх, как уже не раз отмечалось, – оборотная сторона собственных устойчивых эмоциональных реакций, актуализированных событиями, связанными с болезнью, – выдавало страх царя, болезненно остро ощутившего неконтролируемость ситуации. Этот кризис идентификаций с большой четкостью являет себя в вопросе, который и задаст Иван Вассиану Топоркову, с которым он встретится во время этого же паломничества: «Како бы могл добре царствовати и великих сильных своих в послушестве имети?» [10. С. 266]. Обратим внимание на то, что сомнения и неуверенность

царя заставляют его искать ответ на них не в собственном сознании и опыте, а в наставлениях опять-таки фигуры, ассоциируемой с незыблемым авторитетом Божьего слова.

Как известно, бывший советник отца дал ему совет, многое определивший в найденном разрешении кризиса: «И аще хочещи самодержец быти, не держи себе советника ни единого мудрейшего собя, понежи сам еси всех лутчиши» [10. С. 266]. Именно эта новая установка многое определит в дальнейшей самоидентификации царя, в том механизме работы сознания, который приведет к оформлению идентичности самодержца и тирана, именно тут будут посеяны зерна того воскурившегося пожара небывалой лютости, с которым столкнутся его подданные. Именно здесь, как представляется, скрыты социально-психологические корни ситуации, которые приведут в конечном счете к той самой главной трагедии царя, которую современный исследователь определил как «неспособность самоидентификации с идеальным образом правителя-самодержца, «царя и великого князя всея Руси» [35. С. 42]. Для того чтобы эта самоидентификация оказалась возможной, Ивану необходимо было не только и не столько усвоенное представление о величии своей власти, сколько более или менее сбалансированное поведение в отношении подданных, отвечающее их ожиданиям и интересам, обеспечивающее их права и ту меру социальной справедливости, которая была закреплена сложившейся культурно-религиозной традицией. В этом смысле разрыв с советниками означал резкое сужение возможностей выстраивания поведения сообразно нормам этой традиции.

Заметим, однако, что в поиске выхода из кризиса подсказка Вассиана Топоркова легла на тот мощный пласт идентификаций и психологических комплексов Ивана, которые имели естественно-историческую природу как в социальном, так и индивидуальном ракурсах их происхождения. Сами идентификации царя и ценностные установки были заданы культурным дискурсом эпохи, которая на русской почве несла большой груз традиционных представлений, восходящих к архаическому наследию. Если на Западе, в частности во Франции, острота социальных конфликтов сильных агентов социального поля с властью заставила королевскую власть очень рано считаться с условиями, закреплять это в самого разного рода установках, связанных с управлением властью, то на Руси такого рода культурно-оцивилизующая работа сознания протекала значительно медленнее, с сохранением тех самых архетипов бессознательного, которые, условно говоря, вслед за Лотманом, можно назвать архетипом «вручения себя», свойственным авторитарной структуре сознания. В то время как «западное» сознание более последовательно и устойчиво наращивало в своем арсенале установки сознания, связанные с архетипом договора.

Фактически о том же пишет А.Л. Юрганов, отмечая, что идея самовластия была известна давно. «Древнерусского человека еще не раздирают сомнения о предельности своей “воли” и ответственности за нее перед Богом» [36. С. 294]. Весь опыт социально-психологической эволюции восприятия власти в русском обществе вплоть до означенного времени в большей степени

предполагает зафиксированность его в установках, от рационализированных в духе Вассиана Топоркова. Язык текста Ивана Пересветова очень точно передает психологическую составляющую этой авторитарной идеологии: «Царь кроток и смирен на царстве своем, и царство его оскудеет, и слава его низится. Царь на царстве грозен и мудр, царство его ширеет, и имя его славно по всем землям» [37. С. 167]. И далее: «А не мочно царю без грозы быти; как конь под царем без узды, тако и царство без грозы» [37. С. 153]. Она как нельзя прозрачно выявляет бессознательную природу авторитарной ментальности.

Однако эта ментальная конструкция в отдельных своих социальных нишах постепенно начала трансформироваться. В условиях роста и консолидации сословий наращивались те установки сознания, которые более рельефно видны в сравнительном формате. Когда бароны, мелкое рыцарство и горожане Лондона предъявили Иоанну Безземельному на Ранимедском лугу знаменитую Хартию вольностей, они, конечно, не догадывались, что тем самым был сделан существенный шаг на пути к ограничению средневекового авторитаризма. Неслучайно, пусть с большой долей натяжки, этот документ называют первой английской конституцией. Все это находилось в органичной связи с оформлением системы общесословного права и суда, первые шаги в направлении которого были сделаны в Англии и Франции уже в XII–XIII вв. Недаром в этом историко-культурном пространстве уже в XII в. сформировалась доктрина двух тел короля, позволявшая в рамках данной рациональной конструкции обосновывать и право на мятеж против властителя, если его «земное» тело, его человеческая персона проявляет в отношении своих подданных греховный лик.

В России этого времени появляются новые образы и идеологии, свидетельствующие, что самосознание сословий приращивало те самые ментальные матрицы, которые заставляли бы при благоприятствующих социальных обстоятельствах заложить фундамент под иной алгоритм функционирования власти и осознания его границ «своей воли». Пусть они не были доминирующими в общей картине русского культурно-религиозного сознания, пусть они являли свой лик на языке средневековой традиционности, они все же свидетельствовали о нарастании сословного и личностного «индивидуализма» с сопутствующим, по определению, ему разграничением прав, обязанностей и ответственности.

В том же пассаже Ивана Пересветова, где звучит мысль о царской грозе как основе основ власти государя, читаем: «Правда Богу сердечная радость: во царстве своем правду держати, а правда вести царю во царство свое, ино любимаго своего не пощадити, нашед виноватаго» [37. С. 153]. Для полемической литературы этих лет весьма характерен мотив добродетельного, живущего по христианским заповедям царя, чья добродетель мыслится невозможной, если государь не прислушивается к мнению советников. Особенно четко и настойчиво он дает о себе знать в сочинениях Максима Грека [38. С. 107]. Но не только у него.

Примечателен тот факт, что упомянутые фигуры – лица иностранного происхождения. Однако не стоит думать, что новый властный дискурс был результатом простого переноса психолого-интеллектуального опыта

этих людей, опыта, сложившегося в атмосфере относительно свободной европейской социальности, на русскую почву. Бунт отчаяния Курбского и твердость, проявленная митрополитом Филиппом Колычевым в обличении греховного царя, – все это сколки того нового мироощущения, которое при благоприятном социально-психологическом климате могло откристаллизоваться в правовых и культурно-политических практиках и установках сознания, схожих с новоевропейскими.

Атмосфера, сложившаяся в Московском царстве в 60-е гг. XVI в., не только не будет способствовать развитию означенных тенденций, но напротив облегчит на социально-психологическом уровне регрессию к тем архаическим властным практикам и установкам сознания, которые в условиях социального кризиса будут к тому же существенно деформированы, будут представлять собой отказ от наработанных предшествующей традицией норм средневековой цивилизованности.

Возвращаясь к совету Вассиана Топоркова, сыгравшего свою роль в том повороте ума Ивана IV, повороте, который, как оказывается, имел вполне «материальные», исторически бытийственные основания, подчеркнем, что кризис идентичности царя разрешился для него «освобождением» от власти мнения наставников, прежде всего из числа его ближнего окружения, формированием убеждения, что «Русское самодержавство изначала сами владеют своими государствами, а не бояре и вельможи». Подданные не вправе вмешиваться в дела государевы: «Доселе русские владетели не истязуемы были не от кого, но вольны были подвластных своих жаловати и казнити, а не судилися с ними ни перед кем» [8. С. 105–106]. Еще раз подчеркнем, эти и тому подобные властные установки сознания имели «длинную» историю. Еще в период правления Ивана III конфликт с Новгородом был вызван тем, что великого князя назвали не «господином», а государем.

В стилистику этих установок сознания, которым будет суждено зафиксироваться в умонастроении Ивана, вписываются и многочисленные саркастические насмешки царя над теми европейскими правителями, которые позволяли подданным делить с ними власть. Так, Елизавете он писал в одном из писем: «И мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь... ажно у тебя мимо тебя люди владеют, не токмо люди, но и мужики торговые, и о наших государских головах и о честех и о землях прибытка не смотря, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица» [8. С. 111].

Подобного рода исполненных сарказма насмешек в адрес ряда особ королевского рода, насмешек, выявляющих агрессивно-издевательскую, злобную интонацию эмоционального смехового фона, зафиксированного в переписке царя, можно найти немало. Нам уже доводилось писать об этом [34]. В этом смехе проявляла свой лик обретенная и чем далее, тем более кристаллизирующаяся идентичность царя, чьи представления о своем величии, о своей власти оттесняли вглубь подсознания ту самую неуверенность в себе, те самые страхи, которые до поры до времени доминировали в психике молодого Ивана.

Самоуверенные интонации, звучащие в насмешках, явно несли необходимый для функционирования пси-

хики элемент удовольствия и тем самым сигнализировали о соответствующих ценностно-психологических ориентирах его сознания. Стоит особо подчеркнуть, что всякая ценность представляет зафиксированную повторяющимся социально-психологическим опытом установку, установку, которая, как известно, при ее реализации сама порождает из себя энергию и ответственна за принцип удовольствия как один из доминантных принципов функционирования психического. (Напомним, что установка – это готовность к восприятию того или иного события, явления или действию, заложенная предшествующим социально-культурным развитием.) Самоуверенность Ивана, если говорить о психологическом разрешении его первого кризиса идентичности, имеющая сложную, как оказалось, историко-психологическую природу, «отлилась» в «отрационализированную» в ряде ключевых мифологем фиксированную установку – он самый могущественный государь, самодержец, безукоризненное благочестие которого и является залогом его права повелевать и быть над всеми. В том числе и над другими государями.

Невольно напрашивается параллель приведенному письму Ивана с хрестоматийно известной репликой Людовика XI, сумевшего одержать верх над английским своим противником Эдуардом IV, прибегнув к помощи искусства политического слаломы, подкупив, по сути, самого монарха и его подданных: «Я победил английского короля гораздо проще, чем мой отец, напоив его хорошим вином и накормив пирогами с дичиной». Смысловое интонирование смеха этих слов радикально отличается от смеха Грозного.

В ходе длительной эволюции на уровне «проб и ошибок» французская монархия в лице Людовика XI гораздо раньше освоила тот стиль решения властных проблем, который определялся больше готовностью жертвовать сиюминутным ощущением величия во имя достижения главной цели – власти, идти на компромиссы с врагом, когда к этому подталкивали обстоятельства. И в этом приращении политического рационализма, опосредованно отразившемся в шутовом афоризме французского короля, безусловно, проговаривается более динамично меняющаяся структура ментальности западного общества. Его социальная эволюция гораздо раньше и устойчивей будет способствовать «подчинению» эмоционально-аффективной природы властных установок нарабатываемым установкам рационально-прагматического свойства. Этот процесс шел рука об руку, если воспользоваться определением Ж. Ле Гоффа, со «спусканием с небес на землю» и выжался в быстрее прогрессирующей десакрализации самосознания власти. В разгар знаменитых религиозных войн Генрих Наваррский произнесет не менее знаменитую фразу: «Париж стоит мессы». Сложно представить подобно рода шутку в устах Ивана Грозного.

То, что сознание царя было регулируемо в большей степени эмоционально-аффективной сферой, видно из истории разрыва царя с своими ближайшими советниками Сильвестром и Адашевым. Смутное недоверие Ивана к ним, как известно, зародилось в ходе болезни царя. Но резкого охлаждения отношений, а тем более разрыва, не последовало. Как известно, Адашев и Сильвестр оставались до поры до времени приближен-

ными царя. Более того, источники не содержат никакой информации о причинах их опалы. Это обстоятельство представляется весьма симптоматичным. Думается, дело не в утраченной или не сохранившейся информации, а в том, что действовал закон определенной инерции авторитарного сознания. Так сильна была психологическая и нравственная власть этих фигур в сознании царя, что недовольство авторитетом, недоверие ему до поры до времени должны были подавляться или вытесняться из области осознаваемого. Характерно, что когда уже произойдет разрыв, это осознание проявит себя в весьма симптоматичной манере. По словам Ивана, «Сильвестр с Алексеем здружились и начаша советовать отаи нас, мневше нас наразсудных суще», будучи лукавого обычая они «от прародителей данную нам власть от нас отъяша» [10. С. 50, 52].

Судя по всему, окончательный разрыв с советниками произошел в конце 1559 г. Накопившееся раздражение Ивана было подстегнуто неудачами октября–ноября этого года. Власти ордена решили отдаться под защиту Сигизмунда II. Почувствовав себя уверенно, не дожидаясь конца перемирия, они начали военные действия в Прибалтике. Положение осложнилось еще и тем, что погодные условия не дали возможности русским воеводам послать помощь своим войскам. К тому же сказались просчеты, связанные с тем, что как царь, так и советники, уверовав в благоволение истинно христианскому православному царству, не могли, как сказал бы современный политик, рассчитать расклад сил и определить приоритеты. Война с Крымским ханством и Ливонией оказалась не под силу Московии. Вот тогда то и начался поиск «козла отпущения».

По предположению Б.Н. Флори, получив тревожные известия из Ливонии, в Можайске состоялось обсуждение вопроса о будущей ориентации русской внешней политики. Часть советников во главе с Адашевым выступала за прекращение войны с Ливонией и продолжение наступления на Крым, что было бы, заметим, спасением для государства, учитывая реальный расклад сил, и что несомненно свидетельствовало о большем рационализме и прагматизме реагирования советников. Исследователь предполагает, что вмешательство Сильвестра, привыкшего к определенному стилю отношений с воспитанником и угрожавшего ему Божьим гневом в случае, если тот не будет следовать советам Адашева, окончательно определило этот разрыв. Достаточно было «малого слова непотребна», чтобы вызвать гнев царя [8. С. 134–135]. Эта очень точная интерпретация может иметь дополнительный аргумент. Именно то, что царь мыслил в отличие от советников менее рационально, именно те изменения, которые претерпела идентичность царя, уверовавшего после победы под Казанью в себя как в православного царя, власти которого подчинятся все царства, определило не просто несогласие Ивана с советниками, но гневную реакцию, повлекшую за собой разрыв.

Представляется, что этот разрыв имел принципиально важные последствия для судеб нарождавшегося раннего абсолютизма. Была утрачена возможность конструктивного диалога с сословиями, и прежде всего с торгово-ремесленными кругами, диалога, создающего почву для оцивизовывания пространства существо-

вавших практик жизни. Если пытаться анализировать причины такого фиаско, то со всей очевидностью решение вопроса упрется в исследование медленной трансформации традиционной структуры сознания, которая включала в себя большой пласт архаических установок авторитарного менталитета и очень медленно наращивала установки реагирования на ситуацию рационально-прагматического свойства. Причем совершенно очевидно, что миропонимание монарха было гораздо в большей степени ангажировано идеологемами универсалистского, слабо рефлексирующего границы своих возможностей сознания, нежели сознание представителей тех слоев, которые в силу логики самого характера деятельности быстрее наращивали новые установки. В этом смысле особенно символичен факт поведения Сильвестра и Адашева. Будучи поначалу активными сторонниками Ливонской войны, отвечавшей интересам торгово-ремесленных слоев и служилого дворянства, в ходе ее они вынужденно меняют свою позицию, в то время как царь, движимый фикс-идеями, и не мыслит скорректировать позицию, его стремление подтвердить свое величие определяет в конечном счете то, что аппетиты не урезаются, Россия продолжает придерживаться политики возможной войны в обоих направлениях.

Невольно напрашивается параллель с английским вариантом изживания монархией универсалистских амбиций, ранний абрис исторического рисунка которого просматривается уже в событиях Баронской войны. История с подписанием Великой хартии вольностей, заложившая первый кирпич в фундамент по-новому структурировавшегося диалога сословий и короны, имела свое «второе издание». В 1258 г. сословия, не желавшие оплачивать кровью и деньгами намерение Генриха III приобрести еще и сицилийскую корону, заставили его посчитаться с собой. И здесь мы опять-таки имеем дело с той самой особой формой констелляции социальных сил сословий и власти, которая характеризует европейский рисунок властных отношений в режиме большого времени. Конечно, установки корпоративной самостоятельности и самоуважения сложились не в одночасье, путь их приращения, равно как и сопутствующее им обретение новых матриц рационального, менее сакрализованного мировидения, были далеки от характера устойчивой прогрессирующе-рациональной эволюции и также сопровождался регрессией к старым формам взаимоотношений власти и сословий, которые лишь начали движение в направлении Перехода. Но вектор этого движения уже четко прослеживается в событиях означенного времени. И носителями этого нового сознания, заставлявшего монархов соотносить свои универсалистские претензии или имперские амбиции с интересами подданных, в первую очередь выступали именно городские слои, связанные с деньгами, оплачивавшие из своего кармана те или иные военные проекты монархии (это не означает, что представители тех же слоев не могли быть сами заинтересованы в этих проектах, речь идет всего лишь о доминирующем алгоритме реагирования тех, кто рано осваивал новое пространство взаимоотношений с властью, учился считать и думать, словом, обретал ту самую меру политического рационализма, которая и позднее приведет к осознанию ответственности за то или иное решение).

Конфликт нового и традиционного мировидения для той эпохи осмысливается в понятиях времени. А. Шлихтинг разрыв царя с советниками передает следующим образом: «Он считал таких лиц себе врагами за то, что они часто советовали ему править, как подобает христианскому государю, не жаждать в такой степени христианской крови, воздержаться от несправедливых и недозволенных войн, а, довольствуясь своими владениями, жить жизнью, достойною христианского государя» [39. С. 50]. Апелляция к христианским максимам не должна в данном случае затемнять главного – недовольства части подданных, к которым относились и Сильвестр с Адашевым, войной.

Не останавливаясь здесь на обстоятельствах суда над Сильвестром и Адашевым, первого из Ивановых судебных процессов, свидетельствовавших о свертывании нарабатанных традиций правовой цивилизованности, обратим внимание на заочный характер судебного процесса. Если искать ответ на причины такого рода заочного разбирательства, то они могут быть прояснены прежде всего посредством обращения к социально-психологическому срезу сознания царя и тех, кто, судя по источникам, отговаривал царя от допущения открытого разбирательства. Курбский так описывает поведение тех, кто противодействовал возможности опальных советников оправдаться. «Злобные льстецы» посланий к царю не пропускают, митрополиту препятствуют и грозят, а царю нашептывают: «Аще, рече, припустишь их к себе на очи, очаруют тебя и детей твоих. А к тому, любяще их все твое воинство и народ нежели тебя самого, побьют тебя и нас камением» [10. С. 312]. Оговорка о любви к опальным может безусловно свидетельствовать о большой симпатии к ним по крайней мере в Москве. Можно предположить, что эти «злобные льстецы», стремившиеся устранить Сильвестра и Адашева, были в то же время и их политическими противниками.

Однако то обстоятельство, что царь послушался этого совета, как представляется, зависело не столько от нашептываний этих советников, сколько от подсознательной готовности Ивана поступить именно таким образом. Рациональных, «государственно мотивированных» обвинений не могло быть выдвинуто. Бывшие советники не дали для этого никакого повода. Царь ни разу не упрекнул Адашева ни в корыстолюбии, ни в мздоимстве, а ведь тот действовал в сфере управления и администрации, где подобного рода вещи были весьма распространенной практикой. Исследователи отмечают невнятность и сбивчивость выдвинутых им обвинений. Жажда безграничной власти, созревшая готовность авторитарной природы Ивана к бунту, разрыву, как сказал бы Фромм, с авторитетом определили решение. Но этот разрыв имел для сознания Ивана весьма болезненный характер. Вспомним слова С.Б. Веселовского, что Грозный не мог сформулировать вины Сильвестра, который действовал «в деликатной и темной области царской совести» [40. С. 106]. Подсознательно царь продолжал, как и прежде, испытывать страх перед наставником. Подсознательно он не мог не ощущать несправедности и невозможности морально противостоять Сильвестру в этой встрече. Он по-прежнему, сам того не сознавая, зависел от его нравственной оценки. Именно поэтому и избегал прямой встречи с ним.

Осуждение Сильвестра и Адашева и их ссылка маркируют переломный момент в поведении царя, который совпадает с нараставшими проблемами в войне с Ливонией, понять причины которых и отрационализировать как объективный результат неравенства сил, очевидного с точки зрения сегодняшнего дня, человек той эпохи, безусловно, не мог. Собственно говоря, здесь и заложен основной механизм тех многочисленных «процессов», «воскурившегося пожара лютой» и гонений, которые составляют так или иначе суть опричнины. Еще С.Б. Веселовский очень точно подметил, что если в 1550-е гг. жертвами царского произвола и жестокости был относительно ограниченный круг людей, борьба шла среди приближенных к царю лиц, то позднее ее характер меняется [28. С. 108]. Жертв становится неисчислимо много. Чего только стоит знаменитое «московское дело», когда было арестовано вместе с Иваном Михайловичем Висковатым 300 человек, в том числе почти все главные дьяки московских приказов. Царская кара обрушивается на Новгород, Псков, Клин. Именно эти социальные эксцессы, принявшие характер национальной катастрофы, «повторившиеся» в эпоху сталинской модернизации, позволяют поставить вопрос о некоем характерном рисунке русских модернизационных процессов, а стало быть, и специфике сознания, их породившего.

В качестве их общей черты вырисовывается поиск «козла отпущения», связанный с теми или иными сложно разрешаемыми проблемами, который несомненно имел социально-психологическую природу. Не поднимая вопроса о том, насколько отличался стиль сознания этих очень разных эпох, подчеркнем тем не менее слабую степень рационализации как типологически общую черту русской ментальности, что и обуславливало более иррациональный и хаотичный, менее последовательный, если сравнивать с европейским центром, характер модернизаций на русской исторической почве.

Многочисленные «заговоры», сопровождавшиеся эскалацией насилия в отношении заподозренных лиц, их друзей и родственников, являлись, как показывает ряд серьезных исследований опричнины, либо фикцией, либо не находят убедительного подтверждения источниковым материалом [41. С. 271–274; 42. С. 316–319; 8. С. 225]. Представляется, что истоки их следует искать не столько в реальных действиях тех или иных групп и лиц, сколько в процессах социально-психологического свойства, процессах реагирования и осмысления окружающей реальности. И прежде всего здесь следует обратить внимание на атмосферу возраставшей социально-психологической напряженности в ходе Ливонской войны, неудачи и поражения которой осмысливались в понятиях заземленно-личностного, частного плана и одновременно высшего, сакрального, Божьего или дьявольского. Вне контекста этих общих констант функционирования сознания той эпохи вряд ли возможно понять логику многочисленных обвинений в измене делу христианского царства, в колдовстве и других вещах, сопровождавших опричные процессы и гонения. В скобках заметим, что эти особенности ментального склада средневекового человека, определенные А.Я. Гуревичем как гротескность сознания, очень долго сохраняли свою живучесть на русской культурно-ис-

торической почве, что опять-таки свидетельствует о замедленности отработки способов абстрагирования, дифференциации как необходимейших компонентов трансформации сознания в направлении его рационализации.

Примечательно, что одной из первых жертв Ивана Грозного была «ляховица» Мария по прозвищу Магдалина с пятью сыновьями, обвиненная в колдовстве и единомыслии с Алексеем [10. С. 328]. Вспомним обвинения в колдовстве, выдвинутые Ж. Керу, ту «охоту на ведьм», которая сопровождала европейские процессы модернизации Раннего Нового, и станет достаточно ясно, что подобного рода всплески агрессии, направленной на соответствующие слои или лиц в обществе, являются общетипологической характеристикой модернизационных процессов. Однако масштаб, размах их на русской почве все же несопоставим с аналогичными явлениями европейского образца. В этом преломилась вся совокупность характерных черт Перехода к Раннему Новому в России – и более медленное наращивание рациональных практик мышления, и связанная с этим большая степень социально-психологической напряженности в обществе. Именно они-то и явились питательной почвой для развертывания как масштабных репрессий со стороны государственной власти, так и атмосферы доносительства, наушничества, готовности смириться с насилием. И это, безусловно, отражало слабость и хрупкость наработанных установок сословного и индивидуального самосознания и самоуважения, которые только и могли быть единственным сдерживающим фактором подобного рода эксцессов.

Причем сознание и поведение царя в наиболее выпуклом, акцентированном виде отразило то возобладание архаизирующего властного ментального кода, которое, как представляется, и определило срыв первой русской модернизации, связанный с формированием опричного режима. Архаики не в смысле своеобразного возврата к тем модусам поведения и мироощущения человека, которые были свойственны ранним стадиям оформления древнерусского общества, а в том смысле, который вкладывал в это понятие Тойнби, уже цитировавшийся в начале данного текста. Напомним, что он имел в виду те архаизирующие явления, которые возникают в условиях определенного социального кризиса, социального распада и которые, как писал историк, базируются на протесте «против традиции, закона, вкуса, совести, против общественного мнения». Ведь даже при поверхностном знакомстве с бесчинствами, творимыми Иваном Грозным и опричниками, становится очевидным, что они шли вразрез с пусть хрупко отлаженными на русской почве, но вполне определенными нормами средневековой цивилизованности.

Очень выпукло весь комплекс означенных социально-психологических механизмов, обусловивших природу опричности, виден в «деле» И.П. Федорова-Челядина, в обвинении, а затем жесточайшей казни И.М. Висковатого, в расправе над К.Ю. Дубровским и многими другими его жертвами опричного режима. Присмотримся к «делу» последнего. По сообщению Шлихтинга, расправа над ним произошла сразу после бесславно окончившегося литовского похода осенью 1567 г. [39. С. 96]. Главной причиной его отмены, полагают иссле-

дователи, была несвоевременная доставка артиллерии на границу. В.А. Колобков со ссылкой на источник обращает внимание на решение военного совета, проведенного 12 ноября в Оршанском яме, который постановил отменить поход не столько из-за отставания артиллерии, сколько по причине утраты какой-либо надежды на ее продвижение в ближайшем будущем: «А посошные люди многие к наряду (артиллерии – В.К.) не успели, а которые пришли, и те многие разбежались, а которые остались, и у тех лошади под нарядом не идут» [43. С. 209].

Думается, в этом небольшом эпизоде с подготовкой к Литовскому походу, как в капле воды, отразился общий характер состояния военного дела, включая и «человеческий фактор», который в немалой степени определил общий ход и результаты участия России в Ливонской войне. Царь, ища виновника постигших его неудач, «приказал своим убийцам из Опричнины рассечь на куски канцлера Казарина Дубровского». Казарин Дубровский принадлежал к высшим кругам приказной бюрократии, а именно к земскому Конюшенному приказу, на котором, согласно официальной версии, лежала ответственность за перевозку пушек во время Литовского похода.

Опричники, «вторгшись в его дом, рассекли его, сидевшего совершенно безбоязненно с двумя сыновьями, как самого, так и сыновей, а куски трупов бросили в находившийся при доме колодец» [39. С. 58]. Описание Шлихтингом казни, как верно подметил исследователь, менее всего походит на завершение судебного расследования. Это было самым обычным разбойничьим нападением, так свойственным почерку опричнины. В.А. Колобков при этом подчеркивает, что рассказ Шлихтинга находит подтверждение в синодике опальных: «Сих опальных людей поминати по грамоте царевой, и понахиды по ним пети... Раба своего Казарина, да дву сынов его, 10 человек, которые приходили на пособь» [43. С. 210].

Только после расправы Грозный приказал объявить, что К.Ю. Дубровский «брал подарки и равным образом устраивал так, что перевозка пушек выпадала на долю возчиков самого великого князя, а не воинов или графов» [39. С. 58–59]. Исследователи долгое время связывали расправу над дьяком и с теми подозрениями, которые могли возникнуть у Ивана в связи с подачей известной земской челобитной 1567 г. об отмене опричнины. В ней нашло отражение то недовольство со стороны верхов провинциального дворянства и приказной администрации, которое впервые «официально» было озвучено в «увещании» об опричнине во время Земского собора 1566 г. Однако, по мнению ряда авторов, в частности А.А. Зимина, исследовавшего списки участников собора и не обнаружившего упоминания имени дьяка в них, скорее всего, Дубровский отсутствовал в это время в столице, выполняя обязанности посольского дьяка.

Как представляется, весь этот комплекс обстоятельств, образующих «интерьер» дела Казарина, как нельзя лучше связывается в единую картину в свете психосоциального склада Ивана. Уже отмечавшаяся устойчивая его черта – базальная повышенная тревожность подталкивала его к аффективным решениям, блокировала «голос разума», уводила от «правового» решения вопроса. В этот же комплекс вписывается и

свойственная такому авторитарному, избыточно невротичному характеру жестокость, переходящая в садизм.

На основе этого можно предположить, что, получив челобитную, разъяренный царь впал в одно из тех столь часто посещавших его аффективных состояний, когда старые страхи, прочно укорененные в его сознании, были до предела обострены. Зная природу функционирования фиксированных установок, можно также предположить, что они составляли существенную часть едва ли не повседневного эмоционального фона царя, который способствовал «застреванию», как выражаются психологи, в его сознании мысли о вездесущности измены. Любопытно, что такого рода мироощущение, свойственное кризисно переходным эпохам и на Западе – мироощущение «осажденного Града», – сквозит во многих высказываниях Ивана и его современников. Причем порожденное им сознание не дифференцирует и не дистанцирует во времени «врагов» и «изменников», оно готово подозревать едва ли не всякого. Так, Филиппу Колычеву, приехавшему в последних числах ноября 1567 г. увещевать царя в том, что «никто же ничто же иже на твою державу зло совещевает», Иван ответил: «Как мятежны были его подданные по отношению к нему и его предкам с самого начала... рода Владимира Мономаха до сего дня и как пытались они прекратить высокославную династию и посадить вместо нее другую» [45. С. 33]. В эту же стилистику вписывается поведение Ивана, обосновывавшего, согласно Таубе и Крузе, свое царское «отречение» следующим образом: «Он хорошо знает и имеет определенные известия, что они не желают терпеть ни его, ни его наследников, покушаются на его здоровье и жизнь и хотят передать русское государство чужеземному господству» [45. С. 31].

В логику так функционирующего сознания вписывается и возможный ход мыслей царя, приведший к расправе над Казарином Дубровским, а затем и участниками «земского заговора». Провал похода и записка земских 1567 г. для него именно потому были неопровержимыми доказательствами существовавшей измены в государстве, что сознание его было «закрыто», как сказал бы современный психолог, для последовательно рационального терпеливого анализа ситуации в силу самой природы его историко-психологического функционирования.

В то же время эскалация кровавых эксцессов безусловно оказалась возможной в силу неспособности общества противостоять оформлявшейся тирании опричного режима. Как правило, эту неспособность исследователи выводят из хрупкости тех правовых норм, которые закрепило самосознание сословий в виде предшествующих реформ. При всей верности такого рода интерпретации она все же нуждается в некоей расшифровке. Ведь хорошо известно, что как опричнина, так и Ливонская война нашли отражение в недовольстве самых разных групп и лиц русского общества того времени.

Проявлений такого рода недовольства источники эпохи обнаруживают немало. Так, после вторжений крымцев в 1563 г. царь получил известие о том, что настроения служилой поместной массы были весьма неудовлетворительны. Надо было предпринимать какие-то решительные и немедленные меры [44. С. 18]. Но какие – царь не знал. Это недовольство он мог по-

чувствовать в выступлениях против бесчинств опричников на соборе 1566 г., в подаче земской челобитной 1567 г. Не говоря уже об обличениях митрополита Филиппа Колычева и т.д. Это недовольство имело самые разные психологические оттенки, включая и такие эмоционально сильные его выражения, как ненависть. В «Пискаревском летописце» читаем: «Попущением Божиим за грехи наши возъярился царь Иван Васильевич на все православие по злым людям совету Василия Юрьева и Алексея Басманова и иных таких же, учиниша опричнину... и бысть туга ненависть на царя в миру...» [22. Т. 34. С. 190].

Но почему же оно не выльется в сколько-нибудь широкий протест? Почему подданные окажутся не готовы к бунту, чтобы заставить посчитаться с собой царя? В то время как во Франции подданные Людовика XI, недовольные всего лишь поднятием налогов и отстранением ряда должностных лиц администрации его отца, объединятся в Лигу общественного блага, которая начнет против неугодных «обществу» действий монарха самую настоящую войну? Примерно то же самое повторится при Людовике XIV, вынужденным искать компромиссных путей восстановления диалога с подданными во времена знаменитой Фронды.

Так чем же была обусловлена эта слабость оппозиции Грозному? Ответ на этот вопрос, безусловно находящийся в плоскости исследования закономерностей формирования сословного самосознания, вряд ли будет возможным, если мы минуем рассмотрение социально-психологических особенностей трансформации авторитарной ментальности. Обратимся к наиболее яркому свидетельству такого рода, которое оставила эта эпоха, позволяющему выявить ее характерный срез во времена опричнины. Дворянскому «увещанию» царя на соборе 1566 г. с просьбой, чтобы он отменил опричнину, предшествовало выражение готовности наипреданнейшим образом служить царю. «Ведает Бог да государь наш, – говорилось в ответе одной из дворянских курий на вопрос о продолжении Ливонской войны, – как свое государево дело здекает, его государева воля... а мы государевы холопы служилые люди, нам как государь велит, и мы на государево дело готовы... головы свои класти, и помереть готовы за государя своего и за его детей...» [43. С. 212].

Несмотря на всю индивидуальность «речей», звучавших на соборе, красной нитью через весь соборный приговор проходит, как отметили исследователи, мысль об определяющей воле государя: «Ведает Бог да государь, как ему государю годно» [43. С. 253; 52. С. 112–114]. Лишь выразив свою преданность, члены собора адресовали царю свою просьбу покончить с бесчинствами опричников. Причем члены собора не требуют, они жалуются и сетуют, «увещевают». Напоминают, что всегда служили и готовы служить «своим животом» царю. И лишь пеняют: «Все мы верно тебе служим, проливаем кровь нашу за тебя. Ты же за заслуги воздаешь нам такую благодарность» [43. С. 212].

Сама стилистика обращения к царю представляется достаточно симптоматичной. Язык обращений отчетливо фиксирует безоговорочную готовность подчиниться его власти, искать его расположения. Все это настолько вписывается в характерное поведение авторитарного сознания, «рациональные» идиологемы которого в «снятом виде» содержат в себе невидимый

глазу пласт зафиксировавшейся на уровне глубин бессознательного эмоциональной готовности подчиняться. Эта готовность, этот глубинный страх, как сказал бы Фромм, имеет тенденцию выражать себя в избыточно артикулируемом проявлении «любви», преданности и т.п. вещах.

И царь, и подданные оказываются в некоей ловушке. Ведь и царь подсознательно боится их. Неслучайно, сообщив о кровавых рейдах опричных отрядов по улицам Москвы, Шлихтинг заметил, что «сильная жестокость» совершается обычно до тех пор, пока Грозный не увидит, что «народ взволнован» [39. С. 59]. Большинство лиц, обратившихся к царю с «увещанием» об опричнине, были освобождены через пять дней [43. С. 211].

Впрочем, сдерживающий фактор страха перед подданными быстро преодолевается. Вскоре трое главных зачинщиков были казнены и, не увидев сопротивления, царь, как сообщает Шлихтинг, «вспомнил о тех, кто был отпущен, и, негодуя на увещание, велит схватить их и разрубить на куски» [39. С. 73]. И этого возвратившегося в виде избыточно жестокой агрессии страха достаточно, чтобы заработал механизм реактуализации тех самых исторически сложившихся с древних времен ментальных архетипов «вручения себя», которые психолог назовет устойчивостью фиксированных бессознательных установок.

Безусловно, этот психологический комплекс авторитарного сознания, который столь эскизно обозначен на данном материале, не оставался инвариантно неизменным. Данная реконструкция не более, чем модальная. И тем не менее, отказавшись от нее, вряд ли возможно понять психологию опричнины. Она же, как представляется, дает возможность увидеть во многом повторяющийся «национальный» рисунок властного сознания в таком его ментальном срезе, как комплекс чувств «страха–любви» к Сталину. Именно эти глубинные, медленно мутирующие установки нашего властно-психологического культурного кода, проявившиеся и в более поздние времена, дадут основания классику отечественной литературы позднесоветских лет сформулировать их бессознательный генотип, их двойственную природу. «Наш страх – их гипноз, их гипноз – наш страх» – так образно обозначит его Ф. Искандер в повести «Кролики и удавы».

Эти устойчивые страхи коллективного бессознательного, относящиеся к сфере, казалось бы, не столь важной, с точки зрения исследователя-позитивиста, сыграют важнейшую роль в неспособности к тому противодействию царю, которое могло бы отлиться в сколько-нибудь четко сформированную оппозицию подданных государю. Именно они и блокировали возможную, а на деле маловозможную апелляцию к праву, закону, наработанным новым политико-правовым нормам.

Итак, сама инерция коллективного бессознательно-го, хрупкость наработанных новых установок правосознания создадут ту среду, в которой сформируется доминантная установка личности Ивана IV. В том, что он уверовал в дарованное ему Богом право вершить судьбы христианского мира и подданных, со всей очевидностью просматривается стремление к безграничному ощущению власти, закрепившееся в качестве своеобразной фикс-идеи. Эта доминантная установка потому и была столь сильна, что оформлялась на базе сознания, в большей степени регулируемого эмоционально-

аффективной сферой, нежели приращенными всем ходом интеллектуально-личностной динамики установки рационального реагирования на действительность. Весь алгоритм психосоциального развития общества давал слишком мало оснований для такого рода приращения, что отчетливо видно во всех срезах ментального склада.

Особого внимания заслуживает та настойчивость, отмеченная исследователями, с которой царь снова и снова настаивает на своем «природном» праве на полную и неограниченную власть в государстве. Эта почти маниакальная настойчивость говорит о многом. О том, что царь встал на путь попрания своих государевых обязанностей, связанных прежде всего с соблюдением наработанных правовых норм. Именно защитная функция Эго заставляет его убеждать самого себя и окружающих, что право казнить без суда и следствия дано ему во имя спасения христианского царства. Вспомним его слова в первом послании Курбскому: «Вспомни же и в царях великого Константина: како царствия ради сына своего, рожденного от себе, убил есть» [10. С. 34]. А что уж говорить о тех изменниках, тех предателях, том «сатанинском отродье», что окружает его и виновны в поражениях христианского царя, невзгодах, обрушивающихся на его царство. Именно так видел окружающий его мир и свою роль в нем царь, именно эта «картина мира» вырисовывается в многочисленных высказываниях его. Например, в его словах, обращенных к Курбскому: «Яко бесы на вест мир, тако и ваши, изволивши быть друзи и служебники... на нас много-различными виды всюду сети поляцающие, и бесовским обычаем нас всячески назирающе...» [10. С. 24]. Любопытно, что эта своеобразная, как сказал бы Фромм, рационализация защитного свойства, имевшая безусловно бессознательную природу, зафиксирована не только письменными источниками. На адописной иконе в церкви Троицы, где часто происходили оргии Ивана, на одной из фресок в польхающей геенне огненной дьявол, оскаливший рот, а по обе стороны от него изображены, судя по всему, оскаленные песьи морды, пожирающие грешников [36. С. 390]. В этом же смысле можно согласиться с мнением А.Л. Юрганова, утверждавшего, что Иван отождествляет себя не то с Богом, не то с архангелом Михаилом [36. С. 378].

Но эта же настойчивость в утверждении своего исключительного права на то, чтобы вершить жизнь подданных, говорит и о живущем в сознании царя чувстве внутренней неуверенности в том, что его подданные с этим согласятся, что его право на неограниченную власть не встретит с их стороны возражений. Эта базисная, как уже не раз отмечалось, неуверенность царя в критические моменты перерастала в страх. Его основа – другая сторона идентичности Ивана. Будучи обусловлена социальными факторами, резким рассогласованием царя-тирана с подданными, она постоянно давала о себе знать на единственно возможном для тогдашнего сознания языке – религиозной нормы. Ведь основу ее составлял тот каркас религиозных ценностей и табу, которые не могли быть до конца стерты сознанием. Их попирали царь, казня и насилуя подданных, но и подданные напоминали о том, что наказания Божьего за совершенные царем грехи не избежать. Шлихтинг,

например, рассказывает, как во время пытки богатым новгородцем Федор Ширков заявил, что видел злых духов, которые скоро заберут душу царя [39. С. 64]. Огрубляя ситуацию, можно сказать, что сознание Грозного постоянно билось в тисках неразрешимого противоречия этих двух идентификаций. Он – всемогущественнейший избранник Бога и одновременно его раб, который не может не ощущать своей греховности, как бы хорошо не срабатывали его психологические защиты.

Эти страхи являют свой лик в самых разнообразных ситуациях и явлениях. В его текстах, где можно найти немало пассажей типа: «надеюсь на милость благоутробия Божия – может пучиною милости своея потопити беззакония моя» [10. С. 78]; «Бога ради, святые и преблаженные отцы, не принуждайте меня, грешного и скверного плакаться о вам о своих грехах» [21. С. 163]. В том, как после смерти сына он приказал составить синодик опальных для помина тех, кто был казнен опричниками. В его поведении в Александровой слободе, куда он отъехал, «учреждая» опричнину. Примечательная деталь – когда в начале февраля 1565 г. царь вернулся из слободы, то выяснилось, что у него вылезли все волосы на голове и из бороды [45. С. 34]. Не только подданные впали в «захлипанье слезное», видя в отказе законного государя от царства проявление гнева Божьего, но и сам Грозный испытал едва ли не более сильные эмоции. Психосоматические проявления того мощного кризиса идентичности, который он пережил, отчетливо говорят о сильном нервном напряжении Ивана. И дело было не просто в том, что сказывалась императивная логика авторитарного сознания, предполагавшего неизбежность наказания государю, забывшему о своих пастырских обязанностях. Дело было в том, что, подсознательно чувствуя недовольство многих, Грозный боялся, как воспримут подданные, среди которых было столько «изменников» православного царя, его удаление из Москвы, согласятся ли они с его «ультиматумом».

Именно эти страхи царя, преступавшего через многие социальные и религиозные нормы общества, отражает отчасти стилистика смеха Грозного. Этот смех многолик. Одна из его ипостасей, как представляется, позволяет говорить о том, что ему было свойственно то, что позволяет говорить о царе как человеке своего времени и культуры. В этом смысле и скоморошество царя, и «пародия» на монастырь, которую он устроил в Александровой слободе и т.п. смех над тем, что может быть ассоциировано с религиозной ценностью или нормой, отчасти вполне вписывается в общий механизм функционирования эмоциональной защиты, которой является и смех, позволяющей личности на время освободиться от гнетущего страха перед табу. Все это вполне коррелирует, как уже писалось, с потребностью человеческого сознания временно освободиться от ноши культуры.

Заметим, что специфика русского смеха, как верно подметили исследователи, сравнивая природу западноевропейских карнавалов и русских праздников, заключалась в том, что интонирование этого смеха было различным. Где на карнавале «смешно – значит не страшно», а в масленичных обрядах «смешно и страшно» [46. С. 148–167]. Если говорить о том, как транслировалось

это различие в практиках, связанных с властным культурным кодом, то совершенно очевидно, что накопленный в ходе эволюции европейской цивилизации багаж установок, связанных с властью, позволял более или менее свободно звучать стихии смеха. Чего только стоит такой атрибут карнавала, как игра в потешного короля, завершавшаяся его символической казнью.

Несомненно, такое артикулирование смеха свидетельствует об определенной социальной зрелости общества, сословий, наработавших большой каркас поведенческих и ментальных установок, позволявших им достаточно динамично преодолевать глубоко укорененный в глубинах архаического сознания страх перед властью. Подчеркнем параллелизм трансформации аффективно-эмоциональной сферы с рациональной. Европейский культурный код также более динамично (в сравнении с Россией) наращивал рациональные установки, десакрализирующие фигуру власти, авторитета, как и преодолевал страх перед ней.

Такая стилистика смеха и породившего его сознания оформлялась столетиями, чтобы явить себя в знаменитом афоризме «Сон разума порождает чудовищ». Безусловно эта стилистика не могла полностью искоренить данные страхи. Не стоит забывать, что смех, как верно подметил А.Г. Козинцев, означает «мгновенный прорыв (но не отмену!) внутреннего запрета, разрешение сделать то, что не может быть разрешено» [47. С. 29]. Но именно характер этих временных прорывов, сам факт их запечатленности многочисленным источниковым материалом, красноречиво говорит сам за себя.

Иная ситуация на Руси. Известно, что «игра в царя» порой сопровождала святочные и масленичные потехи. Но культура не сумела закрепить ее в своем коде как «санкционированный» властью и сознанием обязательный атрибут ритуального свойства. Известно, что по политическому сыску 1666 г. тверских крестьян, изображавших «праздничных царей» на масленичном маскараде, били кнутом «нешадно», отсекали по два пальца правой руки и сослали с семьями в Сибирь [12. С. 164]. Более авторитарное, медленно репрессирующее в своей пластике иерархические установки, связанные с отношением к власти, сознание русского человека прозрачно высвечивается этим тверским казусом, равно как и то, что это сознание, как уже не раз отмечалось, носило более сгущенно-сакральный характер, отягощенный большим чувством страха перед «гневом небесных сил». Не случайно в приведенном примере упомянут момент отсечения двух пальцев как наказания за кощунственное, с точки зрения тогдашнего человека, поведение посмешиников, осмелившихся во время праздника пусть «понарошку», но поклясться Божьим именем, нарекая себя его ставленниками.

В этом смысле нельзя не согласиться с А.Г. Козинцевым, что смех на Руси отражает более архаичный образ мышления, чем на Западе (что, с точки зрения исследователя, было обусловлено быстрым переходом Европы к посттрадиционному обществу). В таком ракурсе смех Ивана вполне коррелирует с предложенным вариантом концептуального объяснения. Однако смех Ивана, при всем при том, что отражает этот более архаичный пласт ментальности русского общества данного времени, несет в себе принципиально новую интонацию. Этот смех содержит в себе проявления того

самого «бунта против совести, традиции», о котором писал Тойнби как свидетельстве социального распада, кризиса. Этот смех включает в себе те интонации, о которых С.С. Аверинцев писал как о свидетельствах смеха цинического [48. С. 7–16]. Этот смех, как сказал еще один исследователь, свидетельствует о влечениях «падшего» человека [49. С. 47]. Это уже не просто смех архаический, это смех архаизирующий.

Именно деформация психосоциальной идентичности царя, которая чем дальше, тем больше обретала характер негативной, как выразился бы Э. Эриксон, и транслируется таковым смехом. Его сознание несет на себе печать того кризиса идентификаций с образом идеального царя, который уже упоминался в данном тексте и который обернулся трагедией для самого Ивана IV и для вверенной ему страны. Кризиса, обусловленного не осознаваемым, но ощущаемым рассогласованием с сословиями, если определять его в историко-социологических терминах. Рассогласованием, сложившимся не вдруг, но в ходе длительного процесса, где можно выделить целый ряд своеобразных точек бифуркации, чем дальше тем больше уводивших царя от возможного пути диалога с Богом и миром. Здесь можно назвать и разрыв с Сильвестром и Адашевым, и отказ от советников, и обретение после Казанской победы «ложного» ощущения своей богоизбранности, подвигнувшего его начать и продолжать губительную для страны войну, и шедшее вразрез с начавшими оформляться новыми судебными практиками обретение убеждения в своем «самодержавстве», позволяющем «подвластных своих жаловати и казнити».

Сознание, казалось бы, маниакально уверенного в своей правоте государя, убежденного, что он вправе как Михаил Архангел наказывать уклоняющихся с пути грешников, изменников, не может, тем не менее, «забыть» того, как подобает вести себя государю, не может избавиться от привитых культурой и воспитателями представлений о «божьей правде», не может «вытеснить» из памяти наставлений Сильвестра и Макария, увещаний Филиппа Кольчева, оно «помнит» о выступлениях земщины, и так или иначе в его отсеках хоронятся все сигналы разлада с подданными и совестью.

Собственно говоря, в тисках этих постоянных столкновений разных установок сознания царя, как между Сциллой и Харибдой, мечется его не имеющее твердого якоря «Я». Однако при всей своей раздвоенности это сознание, как ни парадоксально, сохраняет смысловую целостность. Эта целостность связана с самой глубокой, самой прочной, доминирующей установкой его структуры идентичности – бессознательным самоутверждением, добываемым в постоянно обретаемом чувстве безграничной власти.

И чем дальше идет царь по этому пути, тем сильнее его «Я» требует нового энергетического топлива – ощущения всевластия, которое бы питалось чувством страха тех, кому оно демонстрировалось. Агрессия испытываемого удовольствия – вот что в данном случае определяет стилистику смеха, опосредованно транслировавшего стилистику сознания, вставшего на путь вседозволенности, попирающего наработанную социальную норму. Отсюда, казалось бы, немотивированная жестокость царя, если говорить о ее психологической ос-

нове, которая придает столь садистский колорит многим его выходкам «смехового плана». Красноречивым тому подтверждением является казнь боярина Ивана Петровича Федорова. По рассказу Шлихтинга, Грозный, уверовавший, что тот является главой очередного заговора, призвал его во дворец, заставил облечься в царские одежды и сесть на трон. Затем, преклонив перед ним колени, сказал: «Ты имеешь то, чего искал, к чему стремился, чтобы быть великим князем Московским и занять мое место: вот ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся властью, которого жаждал» [8. С. 226–227]. Затем царь сам заколол его ножом. Последняя деталь также симптоматична. Вся психоаналитическая традиция интерпретирует садистские и некрофильские склонности, столь характерные для поведенческого почерка Ивана Грозного, как сопутствующие явления невротического авторитарного сознания. Они именно потому и свойственны Ивану, что доставляют удовольствие на бессознательном уровне, порождая базисным стремлением к безгранично власти.

Именно удовольствие, которое приносили царю все чаще требующие своего подтверждения глубоко укорененная психологическая потребность ощущать безграничие своей власти и готовность демонстрировать ее, заставляют его «бесчинствовать» в смехе. Например, выпускать неожиданно медведей в толпу [50. С. 127].

Во время разгрома Новгорода, поход на который, как теперь с очевидностью явствует из многих исследований, не имел серьезных рациональных оснований, но был выражением тех самых страхов перед предательством, изменой. Грозный самым жестоким образом надсмехался ни над кем-нибудь, но над самим архиепископом Пименом. «Менее всего надлежит тебе быть архиепископом, – заявил царь, – но скорее флейтистом или вольтыжником, а также вожаком медведей, обученных пляскам. Для этого лучше тебе взять жену, которую я тебе выбрал» [23. С. 117]. Пимену дали белую жеребую кобылу, посадили на нее, дали инструменты и заставили ездить и играть.

Этот эпизод особенно показателен. В звучащем «за кадром» текста смехе Ивана слышны не только интонации удовольствия, получаемого благодаря демонстрации всемогущества, питаемого страхом того, кто подвергся унижению. Это смех имеет ту агрессивную артикуляцию, которая выявляет непреодоленный, глубоко укорененный и неосознаваемый страх царя. Страх перед собственным нарушением базисных для культуры и общества норм. Тех норм, которые не могли быть стерты ни психическими защитными механизмами работы сознания, ни атмосферой вседозволенности, чем дальше, тем больше формирующейся вокруг фигуры царя.

Фактически все поведение Ивана демонстрирует комплекс реакций невротической личности, попавшей в ситуацию чрезмерной напряженности. Как известно, алкоголь и чрезмерная неразборчивая сексуальная активность личности являются одними из симптомов и мощных механизмов разрядки данного напряжения. Это отчетливо проявляется во всей стилистике поведения Грозного. Бесчисленные оргии, как правило, сопровождают все эксцессы опричнины. «Охочий» в молодости до содомского греха и любострастия, царь как будто срывается с цепи. Источники в избытке повествуют о насилии, творимом царем и опричниками. По словам Горсея,

Иван «сам хвастал тем, что растлил тысячу дев, и тем, что тысячи его детей были лишены им жизни».

«Бесчестие» в отношении жен и дочерей заподозренных или обвиненных в измене лиц простиралось столь далеко, что царь не ограничивался сексуальным насилием. Оно нередко завершалось смертью жертв. «У великого князя имеются многочисленные подставные лица и наушники, специально обученные, которые беспрестанно шныряют повсюду и подслушивают, что говорят о нем жены горожан и боярыни; подхваченные речи немедленно доносят ему; а он, отрядив своих приспешников в дом обвиненной женщины, приказывает насильно выхватить ее с ложа собственного мужа и доставить к себе. Если она ему понравится, он держит ее у себя несколько недель для удовлетворения своей похоти, если же нет, то отдает на позор своим приспешникам и, наконец, возвращает ее мужу. Если же он решит мужа этой женщины убить, то велит ее резать или утопить, что уже многих постигло. Так, например, у некоего знатного мужа, его главного писца, по имени Мясоедовский (о котором ниже будет сказано), была насильно похищена жена вместе со служанкой и задержана на несколько недель. Потом он приказал повесить ее и служанку в дверях мужнина дома, где они и провисели две недели, пока не были сняты по приказу государя. И ее муж был вынужден выходить и входить через эти двери под трупом жены. Еще более ужасную вещь сделал он с другим своим писцом: он похитил и обесчестил его жену, а потом повесил ее в той комнате в доме писца, где тот обычно принимал пищу, прямо над столом; и писец был вынужден совершать свою горчайшую трапезу за столом, над которым висела задушенная жена, до тех пор, пока не унесли ее тело по приказу государя. Когда же великий князь отправляется куда-либо, и навстречу ему попадает какая-нибудь женщина (как это бывает), даже если это – жена знатного человека, он приказывает разузнать, чья она и откуда идет. Если же он узнавал, что она жена такого человека, на которого он гневается, то приказывал убрать ее с дороги и бесстыдно обнажить до самой шеи; и она должна была стоять так до тех пор, пока не пройдут мимо нее сам великий князь, его приспешники, всадники и придворные» [53].

Статус тех, кто оказывался в числе таковых, также не был гарантией безопасности. Известен случай, когда опричники вывели за Москву-реку несколько десятков дочерей, жен и сестер боярских и надругались над ними.

В гендерном ракурсе это безудержная, компенсаторная в своей основе бессознательная тяга к подчёркиванию своей власти и одновременно к подтверждению собственной значимости в сексуальных отношениях. Она выражалась в беспорядочных сексуальных связях, включая и гомосексуальные. Отношения с Ф. Басмановым, «сурьмившим брови» и наряжавшимся в женское платье, вписываются в контекст означенных явлений. Внутренняя дисгармония, что давно зафиксировала психоаналитическая литература, приводит к дисфункциям и в сексуальной сфере. Карен Хорни одна из первых обратила внимание на гендерное поведение невротической личности. В условиях постоянного невроза человек перестаёт получать внутреннее удовлетворение от нормальных взаимоотношений с другими людьми. Качество заменяется количеством, постоянным поиском новых связей, в том числе сексуальных.

И опять-таки в смехе, сопровождавшем эти сексуальные бесчинства, звучат уже знакомые интонации циничной агрессии. Расправляясь с московским воеводой Иваном Петровичем Челядниним, он повелел «деревни и имения – сжечь и смешать с землей», «села вместе с церквями и всем, что в них было, с иконами и церковными украшениями – были спалены. Женщин и девушек раздевали донага и в таком виде заставляли ловить по полу кур» [51. С. 88].

Именно к так звучащему смеху приложимы слова С.С. Аверинцева, который говорил, что бывает и смех «цинический, смех хамский, в акте которого смеющийся отделяется от стыда, от жалости, от совести» [48. С. 13]. Но освобождение это от «ноши культуры» безусловно носит неосознаваемый характер. Оно говорит о том, сколь «обременительна», тяжела эта ноша для его носителя, сколь хрупки данные ею плоды и сколь силен пласт коренящихся в глубинах человеческой природы, слабо оцивилизованных логикой предшествующей исторической эволюции архаические властно-иерархические ментальные установки.

Именно их высвечивает все поведение царя и опричников, именно они маркируют суть смеха в последнем из приведенных эпизодов. Здесь как нельзя отчетливо видна тенденция сознания и поведения царя, которая выявляет не просто архаические корни их происхождения, но именно архаизирующую составляющую их выражения. Царь попирает те культурно-правовые и религиозные нормы, которые наработало общество к данному моменту. Эти нормы слишком хрупки, о чем свидетельствует, в частности, судьба судов о защите женской чести. Стоящие за ними установки сознания не обрели силу автоматизмов, не стали той ценностно ориентированной частью идентичности царя и подданных, которая могла бы сдерживать проявление тех ее основ, которые были порождены природой примитивного авторитарного сознания. Сознания, находившегося в плену природно-эмоциональной слабо контролируемой им сферы аффективно-ментальных устремлений.

Но как бы ни была хрупка эта сфера наработанных цивилизацией норм, сознание царя «трагически» не может ее забыть. Поэтому и мечется оно между кровавыми бесчинствами и насилием и неистовыми покаяниями. Поэтому и в звучащем смехе рядоположены эти, казалось бы, разные интонации – удовольствия, испытываемого от проявляемого страха тех, над кем он глумится, и скрытого, но дающего о себе знать в интонировании агрессии страха собственного. Смешанные в «одном флаконе» сознания царя эти эмоциональные составляющие его тем не менее проявляют и иерархию его ценностно-смысловых установок личности. Деформация идентичности Грозного вскрывает логику этой иерархии, где доминируют властные установки «Я» царя, претерпевшие регрессию к самым примитивным про-

явлениям их природного происхождения. Но как далеки эти проявления от своего древнего архаического истока, от сознания, которое еще не «знало» наработанных очеловечивающих это общество норм социальности. «Знает» ли о них царь? И да и нет. «Знает», поскольку он человек своего времени, с трудом, но обретшего культурно-этические максимы, общества, медленно эволюционировавшего от архаически природных форм социальности к культурно-цивилизированным. И одновременно не «знает». Еще слишком сильна эмоционально-аффективная сфера сознания этого общества, слишком поверхностен пласт подавляющих и одновременно преобразующих эту сферу социально-культурных норм, слишком сильны механизмы его психологической защиты, скрывающие от него всю «правду» о себе. Но «слезы» Грозного-царя красноречиво говорят о той мере страха, которую с трудом выносит его сознание, «обреченное» преступать через эти нормы. Многочисленные паломничества по церквям, монастырям и часовням недаром сопровождают его «злодейства». И это слезы искреннего раскаяния, с той лишь поправкой, что эта искренность имеет ту же природу авторитарного происхождения, что и сознание, их породившее. Потому и характер их проявления – это характер «мгновенных прорывов» поверхностно усвоенной, но от этого не утратившей карающе императивной тональности социально-религиозной нормы.

Смех и слезы царя – это смех и слезы человека своей культуры. Культуры, сознание носителей которой несомненно несло на себе печать более архаичного, чем западно-европейское, общества. Эта большая степень архаичности данного сознания в конечном счете явилась препятствием движения вперед по пути обретения новоевропейских практик мышления, связанных с приращением рациональности, прагматизма и т.п. сопутствующих ему черт. В ситуации кризиса она облегчила регрессию в сторону архаизации основных установок сознания и поведения людей. Деформация, которую претерпел в этой ситуации властный код культуры, знаковым образом отразила ментальный срез сознания царя. Смех и слезы Ивана – сколько этого состояния архаизации социально-культурного кода, который свидетельствовал об отказе от обретенных обществом норм. Отказе, имевшем объективно-историческую природу, коренившемся в закономерностях функционирования социально-психического. И в этом смысле эмоциональный срез функционирования сознания царя, на наш взгляд, органично коррелирует с макроисторической логикой того исторического «срыва», который претерпело русское общество, вступая в пространство Перехода с присущим ему импульсивным, иррациональным характером социальных эксцессов, являвшихся специфически акцентированной чертой многих периодов русских модернизаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Раков В.М. «Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI–XVIII вв.). Пермь, 1999. С. 66–70.
2. Тойнби А. Постигание истории. М., 1991. С. 415.
3. Антонян Ю.А. Отрицание цивилизации: каннибализм, инцест, детоубийство, тоталитаризм. М., 2003.
4. Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры // Ученые записки Тартусского гос. ун-та. Тарту, 1981. Вып. 32.
5. Ключевский В.О. Сочинения. М., 1988. Т. 2.
6. Эрикссон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.
7. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М., 1993.
8. Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 11.
9. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.

10. *Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века.* М., 1986. Вып. 8.
11. *Гуревич А.Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
12. *Даркевич В.П.* Народная культура Средневековья: светская и праздничная жизнь в искусстве IX–XVI вв. М., 1988.
13. *Гуревич А.Я.* Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
14. *Карасев Л.В.* Философия смеха. М., 1996.
15. *Семенов Ю.И.* Как возникло человечество. М., 1966.
16. *Попова С.А.* Обряды перехода в традиционной культуре манси. Томск, 2003.
17. *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.
18. *Библиотека литературы Древней Руси.* СПб., 2000. Т. 10.
19. *Демоз Л.* Психохистория. Ростов н/Д, 2000.
20. *Фромм Э.* Психоанализ и этика. М., 1993.
21. *Послания Ивана Грозного.* М.; Л., 1951.
22. *Памятники средневековой русской литературы* М., 1978. Т. 4. С. 34.
23. *Зимин А.А.* Реформы Ивана Грозного. М., 1960.
24. *Кобрин В.Б.* Иван Грозный. М., 1990.
25. *Хорошкевич А.Л.* Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003.
26. *Максим Грек.* Сочинения. Казань, 1860. Т. II.
27. *Барз М.А.* Шекспир и история. М., 1976.
28. *Веселовский С.Б.* Царь Иван Грозный в работах писателей и историков. М., 1999.
29. *Бурдые П.* Социология политики. М., 1990.
30. *Назаренко А.В.* Империя Карла Великого – идеологическая фикция или политический эксперимент // Карл Великий: реалии и мифы / Отв. ред. А.А. Сванидзе. М., 2001.
31. *Каравашкин А.В.* Мораль опричников. Проблемы насилия в эпоху Ивана Грозного // Человек. 1993. № 3.
32. *Каравашкин А.В.* Иван Грозный: «Судите правильно, наши виноваты бы не были» // Человек. 1994. № 4.
33. *Бушуев С.В., Миронов С.Г.* История государства российского: Историко-библиографические очерки. Книга первая. IX–XVI века. М., 1991.
34. *Николаева И.Ю., Карагодина С.В.* Природа смеха и природа власти Ивана Грозного и Козимо Медичи: сравнительный анализ в контексте раннеевропейских процессов перехода // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований. М., 2004.
35. *Богатырев С.Н.* История создания психологического портрета Ивана Грозного / Постигая Россию: К 50-летию научного студенческого кружка отечественной истории Средневековья и Нового времени. М., 1997.
36. *Юрганов А.Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
37. *Сочинения И. Пересветова.* М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956.
38. *Сайнаков Н.А.* Московское царство в поисках врага: Идеалы и реалии формирования идентичности элиты русского общества в XVI веке // Ежегодник историко-антропологических исследований. М., 2003.
39. *Шлихтинг А.* Новое известие о России времени Ивана Грозного / Пер. А.И. Малеина. Л., 1934.
40. *Веселовский С.Б.* Исследования по истории опричнины. М., 1963.
41. *Зимин А.А.* Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
42. *Скрынников Р.Г.* Царство террора. СПб., 1992.
43. *Колобков В.А.* Митрополит Филипп и становление московского самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004.
44. *Садиков П.А.* Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950.
45. *Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе / Пер. М.Г. Рогинского // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922.*
46. *Лотман Ю., Успенский Б.* Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы литературы. 1977. Вып. 3. С. 148–167.
47. *Козинцев А.Г.* Смех: истоки и функции. СПб., 2002.
48. *Аверинцев С.С.* Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как философ. М., 1992. С. 7–18.
49. *Генон Рене.* О смысле карнаваловых праздников // Вопросы философии. М., 1991. № 4. С. 45–48.
50. *Гваньини А.* Описание Московии. М., 1997.
51. *Штаден Г.* О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника / Пер. И.И. Полосина. Л., 1925.
52. *Черепнин Л.В.* Земские соборы Русского государства XVI–XVII вв. М., 1978.
53. <http://vostlit.narod.ru/Texts/rus6/Staden/frametext1.htm>

Статья представлена кафедрой истории Древнего мира, Средних веков и методологии истории исторического факультета Томского государственного университета, поступила в научную редакцию «Исторические науки» 22 декабря 2004 г.